

Одиннадцать видов одиночества

Автор:

Ричард Йейтс

Одиннадцать видов одиночества

Ричард Йейтс

Азбука-бестселлер

Впервые на русском – вторая классическая книга автора прославленной «Дороги перемен» – романа, который вошел в шорт-лист Национальной книжной премии США и послужил основой фильма Сэма Мендеса с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях (впервые вместе после «Титаника»!). Кейт Аткинсон называла Йейтса «реалистом высшей пробы, наследником Хемингуэя», а New York Times писала: «Стоит упомянуть само это название, „Одиннадцать видов одиночества“, – и целое поколение читателей понимающе улыбнется. Йейтс создал ни больше ни меньше – нью-йоркский эквивалент „Дублинцев“ Джойса». Заглавие сборника успело стать нарицательным (и даже наши отечественные меломаны помнят альбом Таницы Тикарам «Eleven Kinds of Loneliness»). Итак, вашему вниманию предлагаются одиннадцать историй о встречах и расставаниях, о любви и ненависти, о хрупкости человеческих отношений и цене обмана – от «одного из величайших американских писателей двадцатого века» (Sunday Telegraph).

Ричард Йейтс

Одиннадцать видов одиночества

Richard Yates

ELEVEN KINDS OF LONELINESS

Серия «Азбука-бестселлер»

Copyright © 1957, 1961, 1962, The Estate of Richard Yates

All rights reserved

© В. Дорогокупля, перевод, 2017

© О. Серебряная, перевод, 2017

© П. Серебряный, перевод, 2017

© К. Тверьянович, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА

* * *

Самый тонко чувствующий автор двадцатого столетия.

The Times

Стоит упомянуть само это название, «Одиннадцать видов одиночества», – и целое поколение читателей понимающе улыбнется. Йейтс создал ни больше ни меньше – нью-йоркский эквивалент «Дублинцев» Джойса.

New York Times

Йейтс – реалист высшей пробы, наследник Хемингуэя с его энергичной скупостью и предшественник Рэймонда Карвера с его глубоким минимализмом. Но есть кое-что еще: некая особая, почти фицджеральдовская прозрачность...

Кейт Аткинсон

По чутью и слуху Йейтс не знает себе равных. Эти рассказы, в которых неудержимо бьется живой пульс, будто не сочинены, а прожиты...

Esquire

Один из важнейших авторов второй половины века... Для меня и многих писателей моего поколения проза Йейтса была как глоток свежего воздуха.

Роберт Стоун

Ричард Йейтс – писатель внушительного таланта. В его изысканной и чуткой прозе искусно соблюден баланс иронии и страстности. Свежесть языка, резкое проникновение в суть явлений, точная передача чувств и саркастический взгляд на события доставляют наслаждение.

Saturday Review

Удивительный писатель с безжалостно острым взглядом. Подобно Апдайку, но мягче, тоньше, без нарочитой пикантности, Йейтс возделывает ниву честного,

трогательного американского реализма.

Time Out

Тонкий, обманчиво прозрачный стилист, Йейтс убийственно точен в диалогах: его герои встают со страниц как живые.

The Boston Globe

Ричард Йейтс, Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй – три несомненно лучших американских автора XX века. Йейтс достоин высочайшего комплимента: он пишет, как сценарист, – хочет, чтобы вы увидели все, что он описывает.

Дэвид Хэйр

Йейтс – это в каком-то смысле американский аналог Фердинанда Селина, разве что не такой брюзга. <...> Стандартные драматические коллизии не привлекают Йейтса, главная трагедия для него таится не в том, что с человеком происходит, но в том, что с ним никак не может случиться.

OpenSpace.ru (<http://openspace.ru/>)

Этот бородатый человек с нездоровым лицом всю жизнь писал одну книгу – о том, что людям сложно ужиться друг с другом, а еще сложнее – с самими собой. Ему, наверное, и в голову не приходило, что когда-нибудь его будут издавать в России. На родине Чехова, на которого книги Йейтса, откровенно говоря, очень похожи.

FashionTime.ru (<http://fashiontime.ru/>)

Романы Йейтса называют хроникой «века беспокойства», беспощадным приговором тому времени, когда, как считал Йейтс, Америка упустила шанс на подлинную свободу, прельстившись мнимым потребительским счастьем. Десятилетия спустя его книги совершенно не устарели, наоборот: потеряв историческую актуальность, жизненная трагедия его героев стала еще болезненнее и острее.

Коммерсант

Йейтс будто рентгеном высвечивает в своих персонажах все то меленькое, мелочное и жутенькое, что люди обычно предпочитают скрывать от окружающих. И получается, что именно эти недоговорки, недопонимания, крошечные неврозы и идиотские заблуждения, вроде бы не сильно страшные сами по себе, в конечном итоге и накапливаются в снежный ком настоящей нешуточной трагедии.

NewsLab.ru (<http://newsLab.ru/>)

Йейтс пишет о хитросплетениях человеческих отношений и о вселенной души. И его тексты – точные, едкие, проникающие в суть и трагичные, как сама жизнь. Йейтсу не присуща витиеватость слога, он не нагружает текст лишними эпитетами. Все ясно и так: есть картинка, есть ситуация, есть герои. Есть неказистая, странная, путаная жизнь.

Санкт-Петербургские ведомости

Жизнь его не щадилась в той же мере, в какой он не щадил ее. Однако Йейтс не стал ни новым Буковски, ни вторым Олгреном. Строгостью письма он напоминает, пожалуй, Генри Джеймса с его «Поворотом винта» или Тургенева лучших времен. Романы Йейтса социальны, но эта социальность естественна, как дыхание... Еще одним действующим лицом его романов является госпожа Пошлость – во всех ее милых, задушевных и смертоносных проявлениях, которые у русского читателя вызывают в памяти чеховские «Три сестры», чтобы не вспоминать хрестоматийные «Крыжовник» и «Ионыч». «Тонкая», «изысканная»,

«естественная», «чуткая», «проникновенная» – все эпитеты, которые сегодня с удовольствием прилагают к прозе Йейтса, совершенно адекватны.

OpenSpace.ru (<http://openspace.ru/>)

Шерон Элизабет и Монике Джейн

посвящается

Доктор Жуткий

О новом мальчике мисс Прайс рассказали совсем немного: она знала только, что большую часть жизни он провел в каком-то приюте, а седовласые «дядя и тетя», с которыми он теперь жил, были опекунами и получали за это деньги от городского управления социального обеспечения Нью-Йорка. Окажись на ее месте другой учитель – не столь преданный делу или не столь одаренный воображением, – он постарался бы разузнать подробности, но мисс Прайс было довольно и этих скудных сведений. В любом случае их оказалось достаточно, чтобы все ее существо наполнилось чувством ответственности за несчастного ребенка. Этим чувством, естественным, как любовь, ее глаза так и светились в то первое утро, когда мальчика привели в четвертый класс.

Он пришел рано и сел за дальнюю парту – очень прямая спина, лодыжки под партой скрещены строго по центру, руки сложены посередине столешницы, будто в симметрии можно найти убежище от любопытных глаз, – и когда другие дети гуськом потянулись в классную комнату, каждый из них смерял новичка продолжительным, ничего не выражающим взглядом.

– Сегодня у нас в классе новый ученик, – объявила мисс Прайс, констатируя очевидное с таким выражением, что все захихикали. – Его зовут Винсент Сабелла, он из Нью-Йорка. И мы все постараемся помочь ему поскорее освоиться.

Тут все вдруг разом обернулись, чтоб посмотреть на новичка, – бедняга даже немного пригнулся и заерзал на стуле. Обычно, если кто-то приезжал из Нью-Йорка, сам этот факт вызывал некоторое уважение. Большинству детей город представлялся увлекательным местом, предназначенным только для взрослых. Их отцы пропадали там каждый день, а им самим разрешалось бывать там лишь изредка и непременно в лучшей одежде, в качестве развлечения. Но при первом же взгляде на Винсента Сабеллу становилось понятно, что к небоскрегам он не имеет решительно никакого отношения. Даже если бы вы не обратили внимания на спутанную шевелюру и сероватый оттенок кожи, одежда бы выдала его с головой: до нелепости новенькие вельветовые брючки, до нелепости же старенькие кеды и желтый хлопчатобумажный джемпер, который был явно мал своему хозяину и хранил на груди ошметки отвалившейся аппликации с изображением Микки-Мауса. Очевидно было, что парнишка явился из той части Нью-Йорка, которую проезжаешь на поезде по пути к Центральному вокзалу, – из той части, где люди вывешивают постельное белье проветриваться на подоконник и, облокотясь на него, весь день напролет сидят и исходят скукой, уставившись в одну точку, а кругом, куда ни глянь, тянутся прямые, глубокие улицы, одна за другой, все одна на другую похожие, с людными тротуарами, кишащими вот такими серокожими мальчишками, отчаянно гоняющими мяч.

Девочки решили, что новенький так себе, и отвернулись. Мальчишки же, не торопясь делать выводы, пытливо осматривали его сверху донизу с легкой усмешкой. Таких парней они привыкли считать «хулиганами», каждому хоть раз в жизни случалось, оказавшись в незнакомом квартале, сжиматься под таким взглядом. И вот возникла счастливая возможность отыгаться.

– Скажи, Винсент, как нам к тебе обращаться? – спросила мисс Прайс. – То есть как тебе больше нравится: Винсент, Винс или еще как-нибудь?

Вопрос имел чисто академическое значение, ведь даже мисс Прайс понимала, что мальчишки будут звать новичка по фамилии, Сабелла, а девчонки вообще никак не будут его звать.

– Можно Винни, – ответил он странным, надтреснутым голосом, видимо охрипшим от крика, с которым его обладатель носился по грязным улочкам своего квартала.

– Прости, не расслышала, – сказала учительница, склонив набок и немного вперед милую головку, так что один из тяжелых локонов скатился с плеча и

свободно повис в воздухе. – Ты сказал «Винс»?

– «Винни» я сказал, – смущенно повторил новенький.

– А, значит, «Винсент»? Ну хорошо, Винсент.

В классе захихикали, но никто не взял на себя труда указать мисс Прайс на ее ошибку. Пусть ее, так веселее.

– Так вот, Винсент, я не буду тратить время и представлять тебе всех ребят по имени, – продолжала мисс Прайс. – Думаю, тебе будет проще запомнить их естественным образом, во время урока. И конечно, мы не ждем, что ты сразу полностью включишься в работу. Попривыкни денек-другой, не спеши, а если что-то будет непонятно – обязательно спрашивай.

Парнишка крякнул невразумительно, и по лицу его пробежала улыбка – мимолетная, но успевшая обнажить зеленые у корней зубы.

– Ну что ж, – произнесла мисс Прайс, переходя к делу, – сегодня понедельник, и по плану мы должны начать с докладов. Кто первый?

О Винсенте Сабелле все тут же забыли. Поднялись сразу семь рук, и учительница отступила в притворном удивлении.

– Вот это да, как много у нас сегодня докладчиков!

Идея еженедельных докладов (каждый понедельник в течение пятнадцати минут дети рассказывали о том, что случилось с ними в прошедшие выходные) принадлежала лично мисс Прайс, и та с полным правом этим гордилась. На последнем педагогическом совете директор ее похвалил и подчеркнул, что это задание прекрасно помогает установить связь между двумя мирами, домашним и школьным, и дает детям ощущение гармонии и уверенности. Требовалось, разумеется, чуткое руководство, чтобы расшевелить застенчивых и сдерживать бойких, но в целом, как заверила директора мисс Прайс, доклады всем очень нравились. Сегодня учительница особенно надеялась, что они всем понравятся: ей хотелось, чтобы Винсент Сабелла поскорее освоился и почувствовал себя свободнее, поэтому она первым делом вызвала Нэнси Паркер. Никто не умел так

увлечь слушателей, как Нэнси.

Все притихли, наблюдая, как Нэнси грациозно выходит к доске. Когда она заговорила, даже те две-три девочки, которые тайно ее презирали, были вынуждены изобразить большой интерес (столь велик был ее авторитет), ну а мальчишки, которые на переменах с наслаждением толкали ее, так что она с визгом летела в грязь, теперь, глядя на любимую жертву своих озорных выходок, не в силах были подавить идиотически-робкую улыбку.

- Ну... - начала Нэнси - и тут же прикрыла рот рукой. Этот жест сопровождался общим хохотом.

- Нэнси, милая, - проговорила мисс Прайс. - Ты же знаешь правила, нельзя начинать доклад с «ну».

Нэнси правила знала: она нарушила их специально, чтобы все засмеялись. Дождавшись, когда волна смеха уляжется, она вытянула указательные пальцы по швам юбки и снова заговорила - теперь уже как положено.

- В пятницу мы всей семьей поехали кататься на новой машине моего брата. На прошлой неделе он купил новый «пontiак» и хотел нас всех прокатить - чтобы испробовать в деле и вообще... Ну, понимаете. И вот мы поехали в Уайт-Плейнс, там поужинали в ресторане, а потом все хотели пойти в кино на «Доктора Джекилла и мистера Хайда», но брат сказал, что этот фильм слишком страшный и вообще мне его смотреть рано. Я так разозлилась! А потом... сейчас скажу... В субботу я весь день была дома, помогала маме шить свадебное платье для сестры. Дело в том, что моя сестра помолвлена, и вот мама делает ей платье на свадьбу. В общем, этим мы и занимались, а в воскресенье на ужин пришел друг моего брата, а потом, тем же вечером, им нужно было вернуться в колледж, и мне разрешили посидеть подольше, чтобы их проводить. Ну вот. Кажется, все.

Нэнси прекрасно чувствовала, когда нужно остановиться, чтобы не затянуть выступление - или, точнее, чтобы оно показалось короче, чем было на самом деле.

- Молодец, Нэнси, - сказала мисс Прайс. - Кто следующий?

Следующим был Уоррен Берг. Пробираясь к доске по проходу между партами, он старательно подтягивал штаны.

– В субботу я обедал у Билла Стрингера, – начал он с привычным прямодушием и непосредственностью, и Билл Стрингер, сидящий в первом ряду, сконфуженно заерзал. Они с Уорреном Бергом были закадычные друзья, и в их докладах речь часто шла об одних и тех же событиях. – А после обеда мы поехали на великах в Уайт-Плейнс. И мы посмотрели «Доктора Джекилла и мистера Хайда». – При этих словах он кивнул в сторону Нэнси; та недовольно, завистливо фыркнула, чем вызвала у одноклассников новый приступ смеха. – Фильм очень хороший, – продолжал Уоррен, – там про чувака, который...

– Про человека, который... – поправила мисс Прайс.

– Про человека, который намешал разных химикатов и превратился в настоящее чудище. Там прямо показывают, как он выпивает эту смесь, и прямо видно, как у него руки все покрываются чешуйками, как у рептилии такой, а потом у него лицо меняется в такую уродливую физиономию, представляете? И клыки изо рта торчат.

Девочки поежились от страха и удовольствия.

– Что ж, – заметила мисс Прайс, – возможно, брат Нэнси был прав, что не хотел ей показывать этот фильм. Чем же ты занялся после фильма, Уоррен?

По классу пронесся разочарованный возглас: всем хотелось услышать подробности о клыках и чешуйках, однако мисс Прайс не любила, чтобы доклады превращались в пересказы фильмов. Уоррен продолжил свою историю, впрочем без особого энтузиазма: после фильма они не делали ничего особенного, просто слонялись по двору Билла Стрингера до самого ужина.

– А в воскресенье, – Уоррен снова воспрянул духом, – Билл Стрингер пришел ко мне, и мой папа помог нам подвесить старую шину на длинной веревке! Привязать к дереву! У меня за домом есть холм, крутой такой, там типа обрыва, и вот мы так подвесили эту шину, что можно, знаете, так взять ее, побежать, а потом поджать ноги и полететь над обрывом, а потом обратно, и так качаться.

– Весело, наверное, – заметила мисс Прайс, взглянув на часы.

– Ой, очень-очень весело, – подтвердил Уоррен.

Вдруг он снова поддернул штаны и добавил, нахмутив лоб:

– И конечно, очень опасно. Если выпустить шину из рук или еще что, полетишь так, что костей не соберешь. Можно там, например, о камень удариться. Ногу там сломать или позвоночник. Но папа сказал, что верит в нас обоих. Что мы будем осторожны.

– Что ж, Уоррен, боюсь, у нас остается мало времени, – сказала мисс Прайс. – Мы успеем послушать только один, последний доклад. Кто готов? Артур Кросс?

Послышался тихий стон, ибо Артур Кросс был самым отъявленным олухом в классе и доклады у него всегда были очень скучные. На сей раз он принялся нудеть о том, как навещал дядю на Лонг-Айленде. В какой-то момент он оговорился: сказал «лоторная мотка» вместо «моторная лодка», и все захохотали как-то особенно глумливо. Так не смеялись ни над кем, кроме Артура Кросса. Но смех оборвался, когда из дальнего угла комнаты раздалось резкое, сухое карканье. Винсент Сабелла тоже рассмеялся – со своими зелеными зубами и прочими прелестями, и все дружно пялились на него, пока он не смолк.

Покончив с докладами, класс приступил к обычным учебным занятиям. О Винсенте Сабелле вспомнили только на перемене – и то лишь для того, чтобы никуда его не принять. Не было его ни среди мальчиков, что столпились у турника и по очереди кувыркались, ни в той группе, что шепталась в дальнем углу игровой площадки, выбирая, где именно сподручней толкнуть в грязь Нэнси Паркер. Не было его и в большой компании, куда приняли даже Артура Кросса: мальчишки гонялись друг за другом кругами, играя в некое безумное подобие салочек. Разумеется, к девочкам он присоединиться не мог, к мальчикам из других классов тоже, поэтому не стал присоединяться ни к кому. Он остался возле здания школы, у выхода на игровую площадку, и первую часть перемены усиленно делал вид, будто очень занят шнурками на своих кедах. Он садился на корточки, распускал шнурки и снова завязывал, поднимался и делал несколько пробных шагов пружинящей спортивной походкой, затем вновь нагибался и начинал все сначала. Минут через пять он все же оставил это занятие, набрал пригоршню камешков и принялся метать их в невидимую мишень, на расстояние в несколько ярдов. Этого хватило еще на пять минут, но от перемены оставалось еще пять, и мальчишка не смог придумать больше ничего, кроме как просто

стоять, сперва засунув руки в карманы, потом уперев их в бока и наконец мужественно скрестив на груди.

Мисс Прайс наблюдала за происходящим, стоя в дверях, и всю перемену размышляла о том, стоит ли ей как-то вмешаться. Решила, что не стоит.

На следующий день во время очередной перемены ей вновь удалось сдержать соответствующий порыв, как и в последующие дни той недели, хотя с каждым днем оставаться в стороне было все труднее. Но полностью скрыть свое беспокойство во время занятий она была не в силах. Винсенту Сабелле публично прощались любые ошибки, даже те, которые никак не были связаны с его положением новичка. Все его успехи особо подчеркивались. Стремление учительницы поддержать мальчика, к сожалению, было очевидно, особенно в тех случаях, когда она очень старалась действовать деликатно. Например, однажды, объясняя арифметическую задачу, она сказала:

– Представьте, что Уоррен Берг и Винсент Сабелла пошли в магазин и у каждого есть пятнадцать центов. Шоколадный батончик стоит десять центов. Сколько батончиков получит каждый?

К концу недели новичок имел все шансы превратиться в гадкого любимчика-подлизу, несчастную жертву учительской жалости.

В пятницу мисс Прайс решила, что самое лучшее – побеседовать с новичком один на один и попытаться вызвать его на откровенность. Можно было, например, поговорить о рисунках, которые он сделал на уроке, – хорошая тема, располагает к искренности. Учительница запланировала разговор на обеденный перерыв.

Только вот для Винсента Сабеллы обеденный перерыв был самым тяжелым испытанием за весь учебный день – после перемены, конечно. Вместо того чтобы пойти на часок домой, как делали другие дети, он приносил обед с собой в мятом бумажном пакете и съедал прямо в классе – ситуация, прямо скажем, неловкая. Уходившие из класса последними видели, как он с извиняющимся видом продолжает сидеть за своей партой, сжимая в руках бумажный пакет, и если кому-то из детей приходилось вернуться за оставленной шапкой или свитером, они заставляли беднягу врасплох посреди трапезы: он судорожно прятал от любопытных глаз варенное вкрутую яйцо или украдкой стирал с губ

майонез. Конечно, легче мальчишке не стало, когда мисс Прайс, на глазах у еще не разошедшихся по домам детей, грациозно присела на край соседней парты, давая понять, что готова пожертвовать частью собственного обеденного перерыва для общения с ним.

– Винсент, – начала она, – я хотела сказать, что мне очень понравились твои рисунки. Они замечательные.

Мальчик пробормотал что-то нечленораздельное и бросил нервный взгляд на кучку одноклассников, столпившихся у двери на выход. Учительница продолжала говорить, улыбаясь, рассказывая о том, как хороши рисунки; когда дверь закрылась за последним ребенком, Винсент наконец был готов уделить ей внимание – сперва недоверчиво. Но чем дольше она говорила, тем больше он расслаблялся, и наконец мисс Прайс поняла, что мальчик окончательно успокоился. Это было так же легко и приятно, как гладить кота. Покончив с рисунками, она уверенно перешла к другим, более общим поводам для похвалы.

– Всегда трудно, – рассуждала она, – оказаться в новой школе. Приходится приспособливаться – ну, скажем, к новым заданиям, к новым подходам, и, по моему, ты отлично справляешься. Честное слово. Скажи честно, тебе здесь нравится?

Он опустил глаза к полу – ровно настолько, чтобы хватило времени для ответа:

– Нормально, – и вновь поднял взгляд на учительницу.

– Я очень рада. Я не хочу отрывать тебя от еды, Винсент. Ты ешь, а я посижу рядом, если ты не против.

Надо сказать, к этому моменту было уже совершенно очевидно, что он не против. С непривычным, в глазах мисс Прайс, самозабвением мальчик принялся разворачивать бутерброд с копченой колбасой. Если бы кто-то из детей вошел в это мгновение в класс и увидел, как Винсент ест, это бы уже не имело большого значения, но никто не вошел, и это тоже было неплохо.

Мисс Прайс поудобнее устроилась на парте, закинула ногу на ногу. С изящной ножки, обтянутой чулком, почти соскользнула туфелька.

– Конечно, – продолжала она, – чтобы привыкнуть к новой обстановке, всегда нужно время. И конечно, новичку бывает непросто найти общий язык с новыми одноклассниками. Я хочу сказать, ты не должен расстраиваться, если ребята поначалу ведут себя грубовато. На самом деле им тоже хочется подружиться с тобой, они просто стесняются. Тут нужно немного времени и некоторые усилия – не только с их стороны, но и с твоей. Не слишком большие, конечно, но все же нужны. Вот например, эти доклады, которые мы слушаем по понедельникам: они помогают ребятам лучше узнать друг друга. Мы никого не заставляем выступать с докладом, просто те, кто хочет, могут выступить. Это только один из множества способов помочь окружающим понять, что ты за человек. Есть и много других путей. Главное – не забывать, что дружба – самая естественная вещь в мире. У тебя будет столько друзей, сколько ты пожелаешь, – это лишь вопрос времени. А пока что, я надеюсь, Винсент, ты будешь считать своим другом меня. Можешь обращаться ко мне за любым советом или за чем угодно. Договорились?

Мальчик кивнул и проглотил кусок бутерброда.

– Вот и хорошо. – Она встала и огладила юбку, прикрывавшую узкие бедра. – Теперь я пойду, а то не успею пообедать. Но я очень рада, Винсент, что мы с тобой поболтали, – надеюсь, не в последний раз.

Очень удачно сложилось, что она встала именно в этот момент, потому что, если бы она просидела на парте еще хотя бы минуту, Винсент Сабелла обхватил бы ее руками за талию и уткнулся бы лицом в теплую серую фланель на ее колене, а такое поведение может смутить даже самого преданного своему делу, самого творческого учителя.

В понедельник утром, когда пришло время докладов, мисс Прайс больше всех поразилась, увидев, как грязная рука Винсента Сабеллы взмыла в воздух едва ли не раньше остальных и едва ли не с самым большим нетерпением. У учительницы мелькнула мысль, что на всякий случай первым следует вызвать кого-нибудь другого, но потом, опасаясь задеть чувства новичка, проговорила:

– Давай, Винсент, – изо всех сил стараясь изобразить непринужденность.

Когда он шел по проходу между рядами парт, его сопровождало приглушенное хихиканье одноклассников. Тем не менее он уверенным шагом подошел к доске и обернулся к слушателям. Вид у него был даже слишком уверенный. Осанка и блеск в глазах выдавали его истинное состояние: мальчик нервничал страшно.

– В субботу я поглядел этот фильм, – объявил он.

– Винсент! Посмотрел, – осторожно поправила мисс Прайс.

– Ну я и говорю, – согласился он. – Поглядел фильм. «Доктор Жуткий и мистер Хайд».

Класс взорвался диким, восторженным хохотом, и целый хор голосов поправил:

– Доктор Джекилл!

Винсент не мог перекричать поднявшийся гомон. Мисс Прайс в гневе вскочила со стула.

– Это совершенно естественная оговорка! – заявила она. – Почему вы ведете себя так грубо? Продолжай, Винсент, и прости, что тебя так глупо перебили.

Смех утих, но дети продолжали насмешливо покачивать головами. Разумеется, это вовсе не была естественная оговорка: она доказывала, во-первых, что он безнадежный дурак, а во-вторых – что он врет.

– Я это и имел в виду, – продолжал Винсент. – «Доктор Шакал и мистер Хайд». Перепутал немного. В общем, видел я, как у него стали лезть зубы изо рта и прочее, мне очень понравилось. А в воскресенье мамаша с батей прикатили за мной на своей тачке. На «бьюике». Батя и говорит: «Винни, хошь прокатиться?» А я говорю: «Еще бы, куда поедем?» А он говорит: «Куда хошь». Ну я и говорю: «Покатили за город, подальше. Давай найдем большую дорогу и по ней погоним». Вот мы поехали – миль на пятьдесят-шестьдесят – и покатили по длинной дороге. Вот мы катим, а нам на хвост садится коп. И батя говорит: «Не бойсь, стяхнем» – и жмет на газ. Прикиньте? Мамаша всполошилась, а батя говорит: «Не волнуйся, дорогая». А сам пытается свернуть, прикиньте, – ну, чтобы соскочить с трассы и сбросить копа с хвоста. Но только он повернул, а коп

открыл дверцу – и давай палить из пушки. Представляете?

К этому моменту те немногие из одноклассников, кто еще был в силах смотреть на новичка, делали это, склонив голову набок и приоткрыв рот: так смотрят на сломанную руку или на циркового уродца.

– Короче, едва смылись, – продолжал Винсент. Глаза его сияли. – А бате в плечо пуля попала. Не сильно поранила – так, поцарапала. И вот мамаша его перевязала и, короче, вести машину он больше не может, а ему к врачу надо, прикиньте. И вот батя говорит: «Винни, сможешь доехать сам?» А я говорю: «Конечно, покажи только как». Короче, показал он мне, как работают газ и тормоз и все прочее, и я отвез его к доктору. А мамаша говорит: «Я горжусь тобой, Винни, ты сам ведешь машину». Короче, прикатили мы к доктору, батю там подлечили, и он отвез нас домой. – Винсент перевел дыхание. После неуверенной паузы он добавил: – Вот и все.

Быстрым шагом он вернулся за свою парту. Новые, пока еще жесткие вельветовые брюки тихонько присвистывали на каждом шаге.

– Что ж, очень... интересно, Винсент, – сказала мисс Прайс, всеми силами делая вид, будто ничего особенного не случилось. – Кто следующий? – Но никто не поднял руки.

Перемена далась бедолаге еще тяжелее, чем обычно; некоторое облегчение наступило, когда он нашел где спрятаться: это был узкий бетонный тупик, разделявший два корпуса школы, в котором не было ничего, кроме нескольких закрытых пожарных выходов. Там было ободряюще уныло и прохладно. Мальчик стоял, прислонившись спиной к стене и глядя на выход из тупика, чтобы никто не появился неожиданно, а звуки перемены текли откуда-то издалека, подобно солнечному свету. Но в конце концов прозвенел звонок, и Винсенту пришлось вернуться в класс. До обеденного перерыва оставался час.

Мисс Прайс не трогала его, пока не пообедала сама. Затем, постояв не менее минуты возле двери, держа руку на дверной ручке и набираясь решимости, она вошла в класс и присела возле Винсента, намереваясь провести с ним еще одну беседу. Тот как раз пытался проглотить остатки бутерброда с острым плавленым сыром.

– Винсент, – начала она, – нам всем очень понравился твой доклад. Но, думаю, он понравился бы нам еще больше – намного больше, – если бы ты рассказал о своей настоящей жизни. То есть, – торопливо продолжала она, – например, я заметила, что у тебя новая ветровка, очень красивая. Она ведь новая, правда? Тетя тебе ее в эти выходные купила?

Он не стал отрицать.

– Тогда почему ты не рассказал нам о том, как вы с тетей пошли в магазин и купили ветровку, и о том, чем вы занимались потом? Вышел бы отличный доклад. – Она выдержала паузу и впервые за все время пристально посмотрела ему в глаза. – Винсент, ты ведь понимаешь, что я хочу сказать? Правда?

Смахнув с губ хлебные крошки, он опустил глаза и кивнул.

– Учти на будущее, ладно?

Он снова кивнул:

– Мисс Прайс, можно мне выйти?

– Конечно.

Он пошел в туалет, и там его вырвало. Умывшись и выпив немного воды, он вернулся в класс. Мисс Прайс была чем-то занята за своим столом и взгляда не подняла. Чтобы не связываться с ней больше, мальчик пошел в раздевалку и присел на длинную скамью. Подобрал забытую кем-то галошу и принялся вертеть в руках. Вскоре послышалась болтовня возвращающихся детей. Чтобы его не заметили, Винсент встал и пошел к пожарному выходу. Толкнув дверь, он увидел, что она ведет в тот самый тупик, где он утром скрывался. Он выскользнул наружу. Минуту-другую мальчик просто стоял, созерцая ровную поверхность бетонной стены; затем нащупал в кармане кусок мела и примерно на высоте фута от земли вывел печатными буквами все самые грязные ругательства, какие только знал. Написав четыре слова, он попытался вспомнить пятое, но вдруг услышал за спиной, у двери, шорох. Там стоял Артур Кросс. Держа дверь нараспашку, он, выпучив глаза, читал надпись на стене.

– Чувак, – произнес он зловещим шепотом, – чувак, ты за это огребешь. Огребешь по самое не хочу.

Вздрагнув, потом как-то вдруг успокоившись, Винсент Сабелла зажал кусок мела в ладони, засунул большие пальцы за ремень и с угрожающим видом повернулся к Артуру Кроссу.

– Да ладно? – произнес он с вызовом. – А кто на меня настучит?

– Нет-нет, никто не настучит, – залепетал Артур Кросс. – Просто не стоило бы тебе тут ходить и писать...

– Вот и ладно, – сказал Винсент и сделал шаг вперед. Он опустил плечи, вытянул шею и сощурился, как Эдвард Робинсон. – Вот и ладно. Остальное меня не колышет. Не люблю стукачей, усек?[1 - Эдвард Робинсон (Эмануэль Голденберг, 1893–1973) – американский актер, известен ролями в криминальных драмах.]

При этих его словах в проеме двери появились Уоррен Берг и Билл Стрингер. Они услышали последнюю реплику и увидели слова, написанные мелом на бетонной стене. Винсент обратился к ним.

– Вас это тоже касается, усекли? – проговорил он. – Вас обоих.

Удивительно, но на лицах у Билла и Уоррена появились те же глуповатые, робкие улыбочки, что и на лице Артура Кросса. Потом они переглянулись и только тогда смогли достойно встретить взгляд Винсента, но было уже поздно.

– Что, Сабелла, думаешь, ты самый умный? – спросил Билл Стрингер.

– Думай что хочешь, – возразил Винсент. – Ты меня слышал. Пошли отсюда.

Им ничего не оставалось, кроме как расступиться и пропустить его, а потом растерянно поплестись следом за ним в раздевалку.

Настучала на него Нэнси Паркер – хотя, когда речь идет о ком-нибудь вроде нее, слово «настучала» кажется неуместным. Она была в раздевалке и все слышала; как только мальчишки вошли, она выглянула наружу, в тупик, увидела надпись

и, нахмурившись, с важным видом направилась напрямиком к мисс Прайс. Учительница как раз собиралась призвать класс к порядку и начать урок, когда Нэнси подошла и зашептала что-то ей на ухо. Затем они обе отправились в раздевалку, откуда мгновение спустя донесся резкий хлопок двери пожарного выхода. Когда они вернулись в класс, Нэнси была вся красная от праведного негодования, а мисс Прайс очень бледная. Никто ничего не сказал. Занятия продолжались своим чередом, хотя было видно, что мисс Прайс расстроена. Речи об инциденте не заходило, пока, отпуская учеников в три часа, она не сказала:

– Винсента Сабеллу прошу задержаться. – И затем, кивнув прочим: – Остальные свободны.

Класс постепенно пустел, а учительница так и сидела за своим столом, закрыв глаза, потирая тонкую переносицу большим и указательным пальцами и пытаясь вызвать в памяти фрагменты некогда прочитанной книги о работе с трудными детьми. Возможно, напрасно она вообще вмешалась и взяла на себя ответственность за одиночество Винсента Сабеллы. Возможно, ему нужен специалист. Она глубоко вздохнула.

– Винсент, подойди, пожалуйста, и сядь рядом, – сказала она, и, когда он устроился, пристально на него посмотрела. – Скажи-ка мне правду. Это ты написал те слова на стене?

Мальчик уставился в пол.

– Посмотри на меня, – потребовала учительница, и он посмотрел. В этот момент она была особенно очаровательна: на щеках легкий румянец, глаза сверкают, а плотно сжатые милые губки выдают неуверенность. – Прежде всего, – проговорила мисс Прайс, протягивая мальчишке небольшую эмалированную миску с пятнами плакатной гуаши, – сходи в туалет, набери сюда горячей воды и немного мыла.

Винсент покорно исполнил приказ, а когда вернулся, осторожно неся миску, чтобы не расплескать пенный раствор, мисс Прайс перебирала какие-то старые тряпки, склонившись над нижним ящиком письменного стола.

– Держи-ка, – велела она, выбрав подходящую тряпку и деловито задвинув ящик. – Эта подойдет. Опusti ее в воду.

Она провела мальчика к пожарному выходу, а пока он смывал со стены те ужасные слова, стояла в тупике и безмолвно наблюдала за его движениями.

Когда дело было сделано, а тряпка и миска убраны на место, учительница и ученик вновь присели возле того же стола.

– Винсент! Ты, наверное, думаешь, что я сержусь? – проговорила мисс Прайс. – Но это не так. Мне бы даже хотелось рассердиться, так было бы намного легче. Но мне обидно. Я старалась стать тебе другом, и мне показалось, что ты тоже хочешь дружить со мной. Но такое... Честно говоря, с человеком, который такое устраивает, дружить трудно.

Тут она с благодарностью заметила у него на глазах слезы.

– Винсент, а что, если я понимаю кое-что лучше, чем ты думаешь? Например, я понимаю, что иногда люди делают такое не потому, что хотят кого-то обидеть, а потому, что сами очень расстроены. Они знают, что поступают нехорошо, и знают даже, что им самим не станет от этого легче, но все равно идут и делают, что задумали. А потом осознают, что потеряли друга, и страшно сожалеют об этом, но уже слишком поздно. Сделанного не воротишь.

Выждав время, пока эта мрачная нота резонировала в тишине классной комнаты, она снова заговорила:

– Знаешь, Винсент, я не сумею это забыть. Однако сейчас мы еще сможем остаться друзьями, потому что я ведь понимаю, что ты не хотел меня обидеть. Только пообещай, что тоже не забудешь этот случай. Запомни навсегда, что, делая подобные вещи, ты обижаешь людей, которые очень хотят относиться к тебе хорошо, и этим ты наносишь вред самому себе. Ты запомнишь это, солнышко? Пообещай.

Слово «солнышко» вырвалось так же произвольно, как произвольно потянулась ее рука к плечу ребенка и скользнула по свитеру; и слово, и жест заставили мальчика только ниже опустить голову.

– Ну ладно, – сказала учительница, – ступай.

Он забрал из раздевалки ветровку и вышел, прячась от взгляда мисс Прайс, в котором затаились усталость и неуверенность. В коридорах было пусто и тихо, лишь откуда-то издали доносился гулкий ритмичный стук швабры о какую-то стену. Звуки, с которыми касались пола его собственные резиновые подошвы, только усугубляли тишину – как и одинокий сдавленный взвизг молнии на ветровке, и легкий механический вздох входной двери. В тишине тем более неожиданной оказалась встреча: на бетонной дорожке, в нескольких ярдах от школы, Винсент вдруг обнаружил, что за ним идут двое мальчишек – Уоррен Берг и Билл Стрингер. На лицах у обоих – нетерпеливые, почти доброжелательные улыбки.

– Ну, и чё она те сделала? – спросил Билл Стрингер.

Винсента застали врасплох; он едва успел натянуть на лицо ту же маску Эдварда Робинсона.

– Не твое дело, – бросил он и прибавил шагу.

– Нет, погоди – постой, эй! – крикнул Уоррен Берг, нагоняя его. – Ну что было-то? Просто сделала тебе втык или что? Эй, Винни, постой.

От этого имени его передернуло. Сжав кулаки в карманах ветровки, он продолжал идти. С трудом сохраняя самообладание и спокойный голос, Винсент проговорил:

– Не твое дело, сказал же. Отвали.

Но мальчишки не отставали.

– Представляю, какую выволочку она тебе устроила, – продолжал Уоррен Берг. – Что она вообще сказала? Давай расскажи, Винни.

На сей раз он не смог вынести звука этого имени. Самообладание покинуло его, колени ослабли, и ноги сами собой перешли на вальяжную походку, удобную для беседы.

– А ничё она не сказала, – ответил он наконец, а потом, выдержав театральную паузу, добавил: – А чё говорить? Она как возьмет линейку...

– Линейку? То есть она тебя – линейкой? – Лица мальчишек приняли потрясенное выражение, полное одновременно недоверия и восхищения, и, пока он продолжал говорить, восхищение явно преобладало.

– Прямо по костяшкам, – выдавил Винсент сквозь сжатые губы. – По пять раз на каждую руку. Говорит: «Сожми кулак. Положи на парту». А потом берет линейку и – бумс! бумс! бумс! Пять раз. Больно до чертиков.

Школьная дверь тихонько шепнула что-то в спину мисс Прайс. Застегивая двубортное пальто строгого покроя, она подняла взгляд – и не поверила своим глазам. Винсент Сабелла? Не может быть! Впереди по дорожке шел совершенно нормальный, довольный жизнью ребенок, в компании двоих приятелей, которые внимательно его слушали. Нет, так и есть. При виде этой картины учительница была готова рассмеяться от радости и облегчения. Значит, у него все наладится. Несмотря на благие намерения и отчаянное стремление что-то нащупать в потемках, предвидеть такого она не могла и уж точно ни за что не сумела бы сама добиться подобного результата. И тем не менее – вот оно, происходит у нее на глазах. Очередное доказательство ее неспособности понять детский образ мыслей.

Ускорив шаг и обогнав ребят, она обернулась и улыбнулась им на ходу.

– Доброй ночи, мальчики, – сказала она, таким образом одарив их чем-то вроде веселого благословения; а удивившись испугу на их лицах, заулыбалась еще шире и проговорила: – Господи, как холодает-то... У тебя очень красивая ветровка, Винсент, и, кажется, очень теплая. Я тебе завидую.

Наконец мальчишки сконфуженно ей кивнули; она еще раз пожелала им доброй ночи, отвернулась и пошла дальше своей дорогой, к автобусной остановке.

За спиной у нее воцарилось гробовое молчание. Потрясенно глядя ей вслед, Уоррен Берг и Билл Стрингер дождались, пока она не свернула за угол, и только после этого вновь обернулись к Винсенту Сабелле.

– Да конечно, линейкой! – проговорил Билл Стрингер. – Линейкой! Да прямо! – И с отвращением пихнул Винсента, так что тот отшатнулся и толкнул Уоррена Берга, а тот отпихнул его обратно.

– Господи, да ты вообще всегда врешь, что ли? А, Сабелла? Только и делаешь, что врешь!

Винсент, которого лишили равновесия, крепко сжимал кулаки в карманах ветровки, тщетно пытаясь восстановить утраченное достоинство.

– Думаете, мне есть дело, верите вы мне или нет? – бросил он, а потом, не зная, что еще сказать, повторил: – Думаете, мне есть дело, верите вы или нет?

Но он остался в полном одиночестве. Уоррен Берг и Билл Стрингер уже плелись через улицу, полные презрительного негодования.

– Все это враки – как про твоего папу, будто в него стрелял полицейский! – крикнул Билл Стрингер.

– Он даже про кино наврал, – напомнил Уоррен Берг; и вдруг наигранно расхохотался, приложил руки к губам, как рупор, и прокричал: – Эй, доктор Жуткий!

Получилось отличное прозвище, было в нем что-то достоверное, правдоподобное. Такое имечко вполне может прижиться: его быстро подхватят, а потом пристанет – уже не отвертишься. Подначивая друг друга, мальчишки стали дружно кричать:

– Как дела, доктор Жуткий?

– Что не бежишь домой следом за мисс Прайс? А, доктор Жуткий?

– Давай-давай, доктор Жуткий!

Винсент Сабелла продолжал идти, словно не замечая их, пока мальчишки не скрылись из виду. Затем он повернул назад и дошел до самой школы, проскользнул по краю игровой площадки и вернулся в тупик. Одна из стен все

еще темнела влажными пятнами в тех местах, где он тер ее мокрой тряпкой, круговыми движениями.

Выбрав место посуше, Винсент вынул из кармана все тот же мелок и стал тщательно вырисовывать голову, в профиль, с длинными роскошными волосами, долго провозился с лицом, стирал его влажными пальцами и вновь рисовал, пока не получилось самое красивое лицо, какое ему до тех пор удавалось изобразить: изящный нос, слегка приоткрытые губы, глаз в опущке длинных ресниц, загнутых грациозно, словно птичье крыло. Тут Винсент помедлил, восхищаясь своим творением с серьезной торжественностью влюбленного; затем провел от губ линию, а на конце ее – большое облачко, как в комиксах. Внутри облачка он написал – так гневно, что мел крошился между пальцами, – все те же самые слова, что и раньше, во время обеденного перерыва. Потом снова вернулся к голове. Он пририсовал к ней длинную изящную шею, нежные покатые плечи – и наконец смелыми, решительными штрихами изобразил обнаженное женское тело: огромные груди с крепкими маленькими сосками, осиную талию, пуп в виде точки, широкие бедра и ляжки, пышущие жаром вокруг треугольника неистово вьющихся лобковых волос. Внизу он начертил название шедевра: «Мисс Прайс».

Мальчик немного постоял, любуясь своим творением и тяжело дыша, а потом отправился домой.

Всего наилучшего

Никто и не ждал, что Грейс станет работать в пятницу накануне свадьбы. Никто, прямо скажем, ей просто не дал бы этого делать, вне зависимости от ее личных желаний.

На столе возле ее печатной машинки лежала бутоньерка из гардений, упакованная в целлофан, – подарок мистера Этвуда, ее начальника, – и в отдельном конверте, в качестве дополнения, – подарочный сертификат из универмага «Блумингдейл» на десять долларов. Мистер Этвуд был особенно галантен с тех пор, как Грейс поцеловалась с ним на вечеринке по случаю Рождества, и теперь, когда она зашла поблагодарить его, он стоял сгорбившись и рылся в ящиках своего рабочего стола, сильно краснел и старался не смотреть

ей в глаза.

– Ой, да что вы, Грейс, тут и говорить не о чем, – пробормотал он. – Мне очень приятно. Кстати, вам не нужна булавка, чтобы приколоть эту штуку?

– Булавка есть в комплекте, – ответила Грейс, приподняв руку с бутоньеркой. – Видите? Очень красивая, белая.

Он весь сиял, наблюдая, как она прикалывает цветы к отвороту жакета, повыше. С важным видом прокашлявшись, он выдвинул столешницу для письма и приготовился начать диктовку. Оказалось, что работы немного: всего два коротких письма, – однако не прошло и часа, как Грейс заметила, что он передает в машинописный отдел стопку диктофонных цилиндров, и поняла: ей делают одолжение.

– Это очень мило с вашей стороны, мистер Этвуд, – сказала она, – но я думаю, что вам следовало нагрузить меня работой в том же объеме, как и...

– Да бросьте, Грейс, – возразил он. – Замуж выходят раз в жизни.

Девушки тоже суетились вокруг нее, толпились возле рабочего стола и хихикали, снова и снова просили показать им фотографию Ральфа («Ох, какой очаровашка!»), а руководитель отдела нервно поглядывал на них, не желая портить им праздник, но несколько переживая, потому как день был все-таки рабочий.

В обеденный перерыв в баре «Шрафтс» устроили традиционный маленький праздник – на девять женщин и девушек, у которых головы пошли кругом от непривычных коктейлей; цыпленок по-королевски остывал, а вся компания забрасывала невесту воспоминаниями о былом и добрыми пожеланиями. Ей снова преподнесли цветы и еще один подарок – серебряную конфетницу, на покупку которой сбросились втихаря.

Грейс повторяла «Большое спасибо», и «Мне очень нравится», и «Даже не знаю, что сказать», пока в голове у нее не загудело от слов, а углы рта не заняли от постоянных улыбок, и тогда ей подумалось, что этот день не кончится никогда.

Ральф позвонил около четырех, совершенно счастливый.

– Как дела, милая? – спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Слушай, угадай, что я получил?

– Ну не знаю. Подарок, наверное? Или что? – Грейс постаралась, чтобы голос ее звучал радостно, хотя это было непросто.

– Премию! Пятьдесят долларов. – Она почти видела, как у него поджимаются губы, когда он произносит «пятьдесят долларов» – с тем особым серьезным выражением, которое предназначалось исключительно для названия денежных сумм.

– Да что ты, Ральф, как это мило, – сказала она, и если даже в ее голосе звучала усталость, он этого не заметил.

– Мило, правда? – переспросил он с усмешкой: его позабавило девчоночье слово. – Ты ведь рада, Грейси? Нет, ты пойми, я правда очень удивился, понимаешь? Босс говорит: «Вот, Ральф, держи!» – и дает мне этот конверт. И ни намека на улыбку, ничего, а я думаю: что за дела? Увольняют меня, что ли, или что? А он говорит: «Давай, Ральф, открывай». Ну я и открываю, а потом гляжу на босса, а у него улыбка до ушей. – Ральф довольно рассмеялся, потом вздохнул. – Ладно, послушай, милая. Когда ты хочешь, чтобы я сегодня зашел?

– Даже не знаю. Приходи, как только сможешь.

– Ладно, слушай. Мне надо заскочить к Эдди, он обещал дать мне свой чемодан, так что я к нему заскочу, а оттуда домой, поем, а потом сразу к тебе – часам к половине девятого – к девяти. Пойдет?

– Хорошо, – согласилась Грейс. – Увидимся вечером, дорогой.

Она начала называть его «дорогой» совсем недавно, когда стало уже очевидно, что она все-таки за него выйдет, и это слово звучало еще как-то странно. Когда она аккуратно расставляла канцелярские принадлежности у себя на столе (поскольку делать было решительно нечего), ее вдруг охватила уже привычная легкая паника: нельзя выходить за него замуж, она ведь его совсем не знает. А

порой ей казалось иначе, что она не может за него выйти как раз потому, что знает его слишком хорошо, но в любом случае ее обуревали сомнения, и она готова была поверить всему, что с самого начала твердила ей Марта, соседка по квартире.

– Забавный, правда? – сказала Марта после их первого свидания. – Говорит «тубзик». Я и не знала, что кто-то и в самом деле говорит «тубзик».

Грейс тогда похихикала и была готова согласиться, что это и правда забавно. В те времена она готова была согласиться с Мартой почти во всем. Ей частенько казалось, что найти такую девушку по объявлению в «Таймс» – дело почти невероятное и что это была самая большая удача в ее жизни.

Но все лето Ральф был очень настойчив, и к осени Грейс начала его защищать.

– Марта, чем он тебе не угодил? Очень приятный молодой человек.

– Брось, Грейс, все они очень приятные, – говорила Марта своим обычным назидательным тоном, так что сразу казалось, что быть «очень приятным» довольно нелепо, затем она гневно поднимала взгляд от своих ногтей, которые старательно покрывала лаком, и объясняла: – Просто он такой... такой маленький белый червяк. Сама разве не видишь?

– Совершенно не понимаю, как цвет его лица связан...

– Господи, да нет, ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Разве не видишь? А эти его дружки? Этот Эдди, и Марти, и Джордж – они же крысеныши... Вся эта мелкая жизнь маленьких клерков, мелкая крысиная возня... Пойми, они все на одно лицо. Эти люди – совершенно одинаковые. Они все время говорят одно и то же: «Эй, как там „Янкиз“ сыграли?» или «Эй, как там „Джайантс“ выступили?»[2 - New York Yankees и San Francisco Giants – бейсбольные команды.] – и живут они все у черта на куличках, где-нибудь в Саннисайде, или Вудхейвене, или в других жутких местах, и мамы их расставляют на каминных полках этих ужасных фарфоровых слоников. – И Марта снова, хмурясь, склонялась над своим ногтями, давая понять, что разговор окончен.

Зима и осень прошли в постоянных метаниях. Некоторое время Грейс пыталась встречаться только с теми мужчинами, которых одобрила бы Марта. Они через слово говорили «забавно» и носили фланелевые костюмы с узкими плечами, как униформу; потом попробовала некоторое время вообще не встречаться с мужчинами. И даже устроила эту безумную выходку с мистером Этвудом на рождественской вечеринке. А Ральф все это время продолжал ей звонить, все время был где-то рядом, ждал, когда она примет решение. Однажды она даже взяла его с собой домой в Пенсильванию (взять туда Марту ей бы даже в голову не пришло), чтобы познакомить с родителями, но сдалась наконец только на пасхальной неделе.

Они пошли на танцы, это было где-то в Квинсе – очередной танцевальный вечер Американского легиона, Ральф с приятелями всегда ходили на такие мероприятия. Когда музыканты заиграли «Пасхальный парад» [3 - «Easter Parade» (1933) – популярная песня Ирвинга Берлина. Так же («The Easter Parade») Йейтс назвал один из своих поздних романов (1976).], он прижал ее к себе и, едва продолжая двигаться в танце, запел – почти зашептал – ей на ухо нежным тенором. Грейс никак не ожидала от Ральфа ничего подобного – такого милого и нежного жеста, – и, хотя, скорее всего, решение выйти за него она приняла не тогда, впоследствии ей казалось, что она сделала это в тот самый момент. Ей всегда вспоминалось, что отбросила сомнения она именно в ту минуту, когда плыла в такт музыке, а сквозь ее волосы пробивался хриплый приглушенный голос Ральфа:

Мне повезет сегодня.

Пусть на тебя все смотрят:

Я самый гордый парень

На шествии пасхальном...

Тем же вечером Грейс сообщила новость Марте, и выражение лица подруги до сих пор маячило у нее перед глазами.

– Нет, Грейс, ты не можешь... ты это не серьезно. То есть, я думала, это все шутки... Ты же не собираешься в самом деле...

– Марта, заткнись! Просто заткнись!

Грейс проплакала всю ночь. Она до сих пор злилась на Марту – прямо сейчас, скользя невидящим взглядом по шеренге стеллажей с папками, которые выстроились вдоль стены. Порой на нее накатывал ужас при мысли, что, возможно, Марта права.

Откуда-то донеслось глупое хихиканье: Грейс с неприятным удивлением заметила, что две девицы, Ирен и Роуз, скалятся, выглядывая из-за своих пишущих машинок и указывая на нее пальцем.

– Мы все видели! – пропела Ирен. – Видели-видели! Что, Грейс, так и сохнешь по нему?

Грейс изобразила, как она сохнет: комическим жестом приподняла свои маленькие груди и усиленно заморгала. Девушки прыснули со смеху.

Усилием воли Грейс снова натянула на лицо открытую простодушную улыбку, приличествующую невесте. Нужно было собраться с мыслями и подумать о делах.

Завтра утром, «ни свет ни заря», как сказала бы ее мать, Грейс должна встретиться с Ральфом на Пенсильванском вокзале. Оттуда они поедут к ней домой. Приедут около часа, на станции их встретят родители. «Рад тебя видеть, Ральф!» – скажет отец, а мать, наверное, чмокнет его в щеку. Грейс наполнило теплое, домашнее чувство любви: уж они-то не назвали бы его «белым червяком»; у них не было никаких ожиданий относительно выпускников Принстонского университета, вообще «интересных» мужчин и прочих других, на которых зациклилась Марта. Потом отец, может быть, пригласит Ральфа куда-нибудь выпить пива, покажет ему бумажную фабрику, на которой работает (и, кстати, Ральф тоже не позволит себе никакого высокомерия в отношении человека, который работает на бумажной фабрике). Ну а вечером из Нью-Йорка приедут родные и друзья Ральфа.

Вечером у Грейс будет время, чтобы спокойно поболтать с мамой, а наутро, «ни свет ни заря» (когда она представила себе счастливую улыбку на простом мамином лице, в глазах сразу защипало), они начнут одеваться к венчанию. Затем церемония в церкви, затем прием (не напьется ли отец? не будет ли Мюриель Кетчел дуться, что ее не попросили быть подружкой невесты?) и, наконец, поезд в Атлантик-Сити и ночь в отеле. О том, что будет после отеля,

Грейс не имела ни малейшего представления. Дверь за нею захлопнется, и наступит мертвая, нездешняя тишина, вывести из которой ее сможет один только Ральф, и больше никто.

- Ну что же, Грейс, - проговорил мистер Этвуд, - я хочу пожелать тебе всего наилучшего.

Он стоял возле ее рабочего стола, уже в шляпе и пальто, а со всех сторон доносился стук и скрип отодвигаемых стульев: значит, уже пять часов.

- Спасибо, мистер Этвуд.

Встав из-за стола, она вдруг обнаружила, что девушки дружно обступили ее со всех сторон, суматошно прощаясь.

- Огромного тебе счастья, Грейс!

- Грейс, пришлешь открыточку? Из Атлантик-Сити?

- Прощай, Грейс!

- Пока, Грейс, и слушай, всего тебе самого доброго!

Наконец она со всеми распрощалась, вышла из лифта, из здания - и поспешила по многолюдным улицам ко входу в метро.

Дома она застала Марту в дверях маленькой кухни. Подруга выглядела очень изысканно в новом пышном платье.

- Привет, Грейс! Тебя сегодня, наверное, живьем съели?

- Нет, что ты, - проговорила Грейс, - все вели себя очень... мило.

Она села, совершенно без сил; цветы и конфетницу положила тут же, на стол. И вдруг заметила, что в квартире очень чисто: пол выметен, пыль вытерта, - а на кухоньке явно готовится ужин.

– Ого! Вот это красота, – сказала она. – Зачем ты?

– Да ладно, все равно я сегодня рано пришла домой, – ответила Марта. Потом улыбнулась и вдруг как будто смутилась. Грейс редко доводилось видеть Марту смущенной. – Я просто подумала, что было бы неплохо, если бы здесь все выглядело прилично – для разнообразия. Все-таки Ральф ведь придет.

– Что ж, – проговорила Грейс, – это очень, очень мило с твоей стороны.

Тут Марта еще раз удивила подругу своим видом: теперь впечатление было такое, что ей неловко. Она вертела в руках жирную кухонную лопатку, стараясь при этом не запачкать платье и внимательно ее рассматривая, будто собираясь начать какой-то трудный разговор.

– Слушай, Грейс, – решила она наконец, – ты ведь понимаешь, почему я не могу прийти на свадьбу?

– Ну конечно, – ответила Грейс, хотя на самом деле не совсем понимала. Вроде как Марте нужно было съездить в Гарвард, чтобы попрощаться с братом, который уходит в армию, но эта история сразу прозвучала неправдоподобно.

– Просто мне бы очень не хотелось, чтобы ты думала, будто я... В общем, я очень рада, если ты действительно понимаешь. Но гораздо важнее другое.

– Что?

– В общем, мне очень жаль, что я говорила про Ральфа всякие гадости. Я не имела права так с тобой разговаривать. Он очень даже милый мальчик, и я... В общем, я просто хочу извиниться, вот и все.

С трудом сдерживая охватившие ее чувства благодарности и облегчения, Грейс проговорила:

– Ну что ты, Марта, ничего страшного, я...

– Еда горит! – И Марта метнулась на кухню. – Нет, вроде ничего! – крикнула она оттуда. – Есть можно.

Когда она стала накрывать на стол, к ней уже вернулось прежнее самообладание.

– Поем и побегу, – заявила она, садясь за ужин. – У меня поезд через сорок минут.

– А я думала, ты завтра поедешь.

– Я и собиралась, – подтвердила Марта, – но решила ехать сегодня. Дело в том, что... Знаешь, Грейс, у меня есть еще одна – если тебе не надоели мои извинения, – есть еще одна причина чувствовать себя виноватой: я ведь ни разу не дала вам с Ральфом возможности побыть здесь наедине. Так что сегодня я исчезаю. – Немного помявшись, она добавила: – Давай договоримся, это мой свадебный подарок.

Она улыбнулась, на сей раз уже не застенчиво, а в своей обычной манере: бросила быстрый многозначительный взгляд – и тут же загадочно отвела глаза. Отношение Грейс к этой улыбке, которую она давно мысленно именовала «изысканной», прошло в свое время стадии недоверия, замешательства, благоговения и старательного подражания.

– Что ж, очень мило с твоей стороны, – сказала Грейс, но на самом деле в тот момент так до конца и не поняла, о чем именно идет речь.

Лишь после того, как ужин был съеден, а посуда вымыта и Марта ушла на вокзал, окруженная вихрем косметики, багажных сумок и торопливых прощаний, – лишь после этого Грейс начала понемногу догадываться о смысле подарка.

Она долго и со вкусом принимала ванну, потом долго вытиралась, вертясь перед зеркалом, исполненная прежде неведомого тихого возбуждения. В своей комнате она извлекла из белой коробки, на вид дорогой, и из шуршащей оберточной бумаги кое-что из приданого: полупрозрачную ночную сорочку из белого нейлона и такой же пеньюар, – надела их и вернулась к зеркалу. Она еще никогда ничего подобного не надевала и ничего подобного не ощущала, и при мысли о том, что Ральф увидит ее такой, она метнулась на кухню, налить себе стаканчик сухого хереса, который Марта берегла для коктейльных вечеринок.

Затем Грейс потушила везде свет, оставив только одну лампу, со стаканом в руках опустилась на диван и, устроившись поудобнее, стала ждать Ральфа. Спустя некоторое время она встала, принесла бутылку хереса и поставила на кофейный столик, на поднос, вместе со вторым стаканом.

Ральф покинул контору немного расстроенным. Он как будто ждал большего от пятницы накануне свадьбы. Премия оказалась вполне приличной (хотя втайне он рассчитывал получить в два раза больше), а за обедом парни купили ему выпить и шутили, как и положено («Да брось, Ральф, не переживай так, могло быть и хуже»), но все равно хотелось настоящего праздника. И чтобы там были не только парни из конторы, но и Эдди, и все его друзья. Вместо этого ему предстояло просто встретиться с Эдди в «Белой розе», как и каждый божий день, потом поехать домой, взять у Эдди чемодан, поесть, а потом снова тащиться на Манхэттен только для того, чтобы час-другой провести с Грейс. Когда Ральф вошел в бар, Эдди там не было, и одиночество кольнуло еще острее. Он угрюмо тянул пиво и ждал.

Эдди был его лучший друг – и идеальный шафер, ведь он следил за развитием их с Грейси отношений с самого начала. Кстати, именно в этом баре прошлым летом Ральф рассказал ему об их первом свидании:

– Ух, Эдди, ты бы видел, какие у нее буфера!

Эдди расплылся в улыбке:

– Так-так... А что соседка?

– Ой, Эдди, нет, соседка тебе не понравится. Страшненькая. И кажется, много о себе думает. Зато вот другая, крошка Грейси... Нет, старик, я ее застолбил.

Половину удовольствия от каждого свидания – или даже больше, чем половину, – составляло удовольствие рассказать Эдди, как все прошло, кое-где приврать, спросить тактического совета. Однако отныне это удовольствие, как и многие другие, останется в прошлом. Грейси обещала, что после свадьбы разрешит ему хотя бы один вечер в неделю проводить с друзьями, но все равно это будет уже совершенно другое. Девчонкам попросту не дано понять, что такое дружба.

В баре висел телевизор, показывали бейсбол. Ральф бессмысленно смотрел в экран. От боли и чувства утраты в горле набухал комок. Почти всю жизнь отдал он мальчишеской, а затем и мужской дружбе, старался быть хорошим парнем, а теперь все лучшее позади.

Наконец кто-то отвесил Ральфу крепкий дружеский щелчок по заду – фирменное приветствие Эдди.

– Что скажешь, красавчик?

Ральф сощурился в гримасе вялого презрения и медленно повернулся к приятелю:

– Что стряслось-то, умник? Заблудился?

– А чё? Ты спешишь куда-то? – Произнося слова, Эдди едва шевелил губами. – Две минуты не подождать? – Ссутулившись на барном стуле, он кинул бармену четвертак. – Джек, плесни стаканчик!

Некоторое время они пили молча, глядя в телевизор.

– А мне премию дали, – сказал Ральф. – Пятьдесят долларов.

– Правда? Здорово.

Бэттер сделал страйк-аут; иннинг закончился и началась реклама.

– Ну как? – спросил Эдди, покачивая стакан с пивом. – Жениться-то не передумал?

– А что такого? – Ральф пожал плечами. – Слушай, кончай уже, а? Идти пора.

– Да постой, погоди. Что за спешка?

– Пойдем, а? – Ральф нетерпеливо шагнул прочь от барной стойки. – Мне правда нужен твой чемодан.

– Ага, чемодан-драбадан.

Ральф снова подошел и вперил в приятеля сердитый взгляд:

– Слушай ты, умник! Никто не собирается тебя заставлять, чтобы ты дал мне этот несчастный чемодан! Уж раз ты так им дорожишь... Можно подумать, очень надо...

– Да ладно, ладно. Получишь ты свой чемодан. Не психуй. – Он допил пиво и вытер губы. – Идем.

Ральфу было очень неприятно, что ему приходится брать займы чемодан для свадебного путешествия: он бы предпочел купить собственный. В витрине магазина багажных сумок, мимо которого они с Эдди каждый вечер проходили по пути к метро, он заметил отличный кожаный саквояж – большой, светло-коричневый, с боковым карманом на молнии, за тридцать девять девяносто пять. Ральф давно положил на него глаз, еще на пасхальной неделе. «Наверно, я его куплю», – сообщил он Эдди совершенно невзначай, – точно так же, как днем или двумя раньше объявил о своей помолвке («Наверное, женюсь на ней»). На оба эти заявления Эдди отреагировал одинаково: «Ты чё, больной?» И оба раза Ральф ответил: «А чё?» – и в пользу саквояжа добавил: «Раз уж женюсь, что-то такое понадобится». И с тех пор казалось, будто саквояж этот, почти как и сама Грейси, стал символом столь желанной новой, более обеспеченной жизни. Однако после покупки кольца и новой одежды и после всех прочих трат Ральф в конце концов обнаружил, что не может позволить себе еще и эту покупку. Пришлось довольствоваться чемоданом Эдди – очень похожим, но подешевле, потрепанным и без кармана на молнии.

И вот теперь, когда они шли мимо того самого магазина дорожных сумок, Ральф вдруг остановился: ему в голову пришла безумная мысль.

– Эй, Эдди, погоди-ка. Знаешь, что я решил сделать с этой премией – с полусотней долларов? Куплю-ка я этот саквояж – прямо сейчас.

– Ты чё, больной? Сорок баксов за саквояж, который нужен раз в году? С ума сошел. Идем!

- Ну не знаю. Думаешь, не надо?

- Слушай, дружище, ты б не разбрасывался деньгами. Пригодятся еще.

- Ну да, - согласился наконец Ральф. - Ты прав, наверно.

И снова зашагал с Эдди в ногу, ко входу в метро. Именно так у него в жизни все обычно и складывалось. Такого саквояжа ему не видать, пока он не станет зарабатывать больше, и он с этим смирился - как смирился безропотно, после первого же тонкого намека, с тем, что невеста отдастся ему только после свадьбы.

Проглотив двух приятелей, метро стучало и грохотало, и трясло их в безумном трансе добрые полчаса, и в конце концов изрыгнуло из своих недр в вечернюю прохладу Квинса.

Сняв на ходу плащи и ослабив галстуки, они позволили легкому ветру высушить пропитанные потом рубашки.

- Какой план? - спросил Эдди. - Во сколько мы должны объявиться завтра в этом пенсильванском городишке?

- Да когда удобнее, - отвечал Ральф. - Вечером, в любое время.

- И что будем делать? Какого черта вообще можно делать в такой глухомани?

- Ну не знаю, - будто оправдываясь, проговорил Ральф. - Ну посидим, поговорим, наверно. Пива поьем со стариком. Мало ли что еще. Не знаю.

- Господи, - простонал Эдди. - Ничего себе уик-энд. Вот счастье-то.

Ральф вдруг остановился посреди тротуара, охваченный внезапным приступом ярости, и скомкал в кулаке мокрый плащ.

- Слышь, ты, козел! Никто не заставляет тебя туда ехать - ни тебя, ни Марти, ни Джорджа, никого. Заруби себе это на носу. Мне не нужно от тебя никаких одолжений, усек?

- Да ты чё? – удивился Эдди. – Ты чё? Шуток не понимаешь?

- Ага, шуток, – процедил Ральф сквозь зубы. – Тебе все шуточки.

Он угрюмо поплелся следом за Эдди, едва сдерживая слезы.

Они углубились в квартал, где оба жили: то был двойной ряд аккуратных, совершенно одинаковых домиков, протянувшийся вдоль той самой улицы, где они всю жизнь дрались, и слонялись, и играли в стикбол[4 - Стикбол – уличная игра, похожая на бейсбол. Популярна в крупных городах на северо-востоке США, особенно в Нью-Йорке и Филадельфии.]. Эдди распахнул входную дверь своего дома и пригласил Ральфа в прихожую, где прозаически пахло цветной капустой и уличной обувью.

- Заходи давай, – проговорил он и махнул большим пальцем в сторону закрытой двери в гостиную, а сам качнулся назад, чтобы уступить дорогу приятелю.

Ральф открыл дверь, прошел три шага – и вдруг его словно ударили ногой в челюсть, так неожиданно пришло осознание происходящего. Комната, где царил полная тишина, была буквально набита людьми – расплывшимися в улыбке, покрасневшими мужчинами. Тут были и Марти, и Джордж, и ребята из квартала, и ребята из конторы – все, все его друзья стояли не шевелясь, боясь нарушить тишину и сбившись в крепкий монолит. Скинни Магуайр скрючился у пианино, занеся растопыренные пальцы над клавишами, и когда он залихватски ударил по клавишам, дружный хор заревел песню, отмеряя ритм взмахами кулаков и коверкая слова улыбающимися ртами:

Ведь он отличный парень,

Ведь он отличный парень,

Ведь он отличный па-арень —

Мы все должны признать![5 - «For He's a Jolly Good Fellow» – поздравительная песня, одна из самых популярных песен на английском языке. Исполняется по случаю свадьбы, рождения ребенка, повышения по службе и проч.]

Ральфа вдруг охватила слабость. Он отступил на шаг, на придверный коврик, и остался так стоять, с широко распахнутыми глазами, тяжело сглатывая, прижимая к груди плащ.

- Мы все должны признать! – распевали они. – Мы все должны признать!

И когда затянули второй куплет, из столовой, отделенной занавесками, появился отец Эдди, лысый и сияющий, поющий во весь голос, и в каждой руке он держал по большой кружке пива. Наконец Скинни пробренчал последнюю строчку:

- Мы - все - долж-ны - при-изна-а-ать!

И все ринулись к Ральфу, осыпая его поздравлениями, яростно трясая ему руку, хлопая по плечу и спине, а его колотило, и голос его терялся в общем гаме.

- Ну вы даете, ребята! Спасибо! Даже... не знаю, что... спасибо, ребята...

Потом толпа раскололась надвое, и Эдди медленно прошествовал по образовавшемуся проходу. Глаза его сияли улыбкой, полной любви, а в неловко вытянутой руке он держал саквояж – не свой, а совершенно новый: тот самый, большой, светло-коричневый, кожаный, с боковым карманом на молнии.

- Речь! – кричали со всех сторон. – Речь!

Но Ральф не мог ни говорить, ни улыбаться. Он даже видел с трудом.

В десять часов Грейс начала ходить по квартире, закусив губу. Что, если он не придет? Да нет, конечно придет. Она снова села и аккуратно разгладила волны нейлона на бедрах, пытаясь сохранять спокойствие. Если она будет нервничать, то все испортит.

Звук дверного звонка подействовал на нее, как удар тока. Уже на полпути к двери она остановилась, тяжело дыша, и снова взяла себя в руки. Затем нажала на кнопку домофона и приоткрыла дверь квартиры, чтобы посмотреть, как он взойдет по лестнице.

Увидев в руке у него саквояж, а на лице – серьезность и бледность, Грейс подумала было, что он обо всем догадался, что он пришел, готовый запереть дверь и заключить ее в объятия.

– Здравствуй, дорогой, – тихо проговорила она и открыла дверь шире.

– Привет, детка. – Он проскользнул мимо нее в квартиру. – Не поздновато? Ты уже легла?

– Нет. – Закрыв дверь, она оперлась о нее обеими руками, так что дверная ручка оказалась у нее за спиной на уровне талии, – именно так закрывают дверь героини фильмов. – Я ждала тебя.

Он на нее даже не посмотрел. Подошел к дивану и сел, поставив саквояж на колени и скользя по нему пальцами.

– Грейси, – сказал он почти шепотом, – ты только посмотри.

Она взглянула на саквояж, потом – в его печальные глаза.

– Ты помнишь, – проговорил он, – я тебе как-то рассказывал о саквояже, который хотел купить? За сорок долларов? – Он замолчал и осмотрелся. – Ой, а Марта где? Легла?

– Она уехала, милый, – ответила Грейс, медленно приближаясь к дивану. – Уехала на все выходные. – Она присела рядом с Ральфом, придвинулась поближе и одарила его той особенной улыбкой, которую переняла у Марты.

– Seriously? – удивился он. – Ну да ладно. Слушай. Помнишь, я говорил, что вместо этого решил одолжить чемодан у Эдди?

– Да.

– Так вот, сегодня вечером встречаемся мы в «Белой розе», а я и говорю: «Давай, Эдди, айда к тебе за чемоданом». А он говорит: «Ага, за чемоданом-драбаданом». А я ему: «Ты чего?» – а он все молчит, представь? Так вот идем мы к нему, а там в гостиную дверь закрыта, чуешь?

Грейс придвинулась еще ближе и положила голову Ральфу на грудь. Тот механически поднял руку и обхватил ее за плечи, продолжая говорить.

– И короче, он говорит: «Давай, Ральф, открой дверь». А я: «В чем вообще дело?» А он: «Не шуми, Ральф, открывай давай». И вот открываю я дверь, а там – господи исусе!

Пальцы Ральфа впились в плечо Грейс с такой силой, что она посмотрела на него с тревогой.

– Грейси, там были все! – продолжал он. – Все ребята. На пианино лабали, пели, поздравляли... – Голос Ральфа дрогнул, веки опустились, ресницы стали влажными. – Вечеринка-сюрприз, – проговорил он, пытаясь улыбнуться. – Для меня. Нет, Грейси, ты представь, а? И потом... потом вдруг Эдди выходит вперед и... выходит – и вручает мне вот это! Точно такой саквояж, на какой я все время заглядывался. Он купил его на собственные деньги – и ни словом не проболтался, – все это только для того, чтобы сделать мне сюрприз. «Вот, Ральф, – говорит, – чтобы ты понял, что ты лучший в мире парень». – Его дрожащие пальцы снова сжались в кулак. – Грейси, я плакал, – прошептал он. – Не сдержался. Думаю, ребята не видели, но я правда плакал. – Он отвернулся и зашевелил губами, всеми силами стараясь сдержать слезы.

– Хочешь выпить, дорогой? – мягко спросила она.

– Не, Грейси, не надо. Я в норме. – Он осторожно поставил саквояж на ковер. – Сигаретку только дай, а?

Она взяла сигарету с кофейного столика, вставила ему в губы и зажгла.

– Давай я принесу тебе выпить, – сказала она.

Он нахмурился сквозь сигаретный дым:

– А что у тебя там? Херес? Не, не люблю. Да и все равно я пивом накачался. – Он откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. – А потом матушка Эдди накормила нас обалденно, – продолжал он, и голос его звучал уже почти обычно. – Были стейки, картошка фри, – называя каждый из пунктов меню, он откидывал голову

на спинку дивана, – салат из латука и помидоров, пикули, хлеб, масло – все. Куча закусок.

– Надо же, – проговорила Грейс. – Правда, замечательно?

– А в конце еще мороженое и кофе, – не унимался Ральф. – А пива вообще сколько хочешь. Seriously, оно прям рекой лилось.

Грейс провела рукой по колену – отчасти чтобы разгладить нейлоновые складки, отчасти чтобы стереть влагу с ладони.

– Да, они действительно молодцы, – сказала она. Оба замолчали и просидели так, казалось, довольно долго.

– Я, вообще-то, всего на минуту, Грейси, – сообщил наконец Ральф. – Я обещал им вернуться.

Сердце у Грейс бешено колотилось под слоем нейлона.

– Ральф, а тебе... тебе нравится?

– Что, милая?

– Мой пеньюар. Вообще-то, ты не должен был его видеть, пока... то есть до свадьбы, но я подумала, что...

– Хороший, – похвалил Ральф и попробовал тонкую ткань на ощупь, потерев между большим и указательным пальцем, как делают торговцы. – Очень хороший. Почем брала?

– Ой, не помню. Тебе нравится?

Он поцеловал ее и наконец стал нежно гладить.

– Хороший, – приговаривал он. – Хороший. Мне нравится, еще как. – Его рука замерла у низкого выреза, потом скользнула за него и легла невесте на грудь.

– Ральф, я правда люблю тебя, – прошептала она. – Ты ведь знаешь?

Его пальцы сжали ей сосок – на мгновение, – и тут же скользнули прочь. Обет воздержания, привычку последних месяцев, нарушить было уже невозможно.

– Конечно, детка. Я тоже тебя люблю. Ну а теперь – будь хорошей девочкой, выпишись как следует, а утром увидимся.

– Нет, Ральф, останься! Пожалуйста!

– Не могу, Грейси, я обещал ребятам. – Он встал и оправил одежду. – Они ждут меня дома.

Вся пылая, она тоже поднялась на ноги, но вопрос, который должен был выразить страстный призыв, прозвучал как сетования недовольной жены:

– Может, они подождут?

– Ты что, сбрендила? – Ральф попятился, глаза его округлились от праведного гнева. Ей придется понять. Если она ведет себя так до свадьбы, что же будет потом? – Нельзя же так! Чтоб ребята сегодня ждали? После всего, что они сделали для меня?

Ральфу никогда еще не доводилось видеть личико Грейс столь немиловидным, как в последующие несколько мгновений. Но она быстро взяла себя в руки и улыбнулась:

– Конечно, дорогой. Ты прав.

Он опять подошел к ней и нежно провел кулаком по ее подбородку – с довольной улыбкой, как муж, восстановленный в очевидных правах.

– Ну вот, дело другое, – сказал он. – Увидимся завтра на Пенсильванском вокзале, ровно в девять. Ладно, Грейси? Да, пока не ушел... – Он подмигнул и похлопал себя по животу. – У меня пиво вот-вот из ушей польется. Можно мне в тубзик?

Когда он вышел из уборной, она ждала его у входной двери, чтобы попрощаться, – стояла, скрестив руки на груди, будто замерзла. Ральф любовно взвесил в руке саквояж и подошел к Грейс.

– Ну что, детка, – проговорил он и поцеловал ее. – Значит, в девять. Не забудь.

Она устало улыбнулась и открыла перед ним дверь.

– Не волнуйся, Ральф, – сказала она. – Увидимся.

Джоди тут как тут

Сержант Рис был стройный, молчаливый парень из Теннесси, всегда подтянутый в своей полевой форме; от взводного сержанта мы ждали немного другого. Вскоре мы узнали, что он типичный представитель – едва ли не чистый образец – поколения военных, которые пришли в регулярную армию в тридцатые годы и сформировали кадровый состав крупнейших учебных центров военного времени, но поначалу он очень нас удивлял. Мы были весьма наивны и, наверное, ожидали встретить на этой должности эдакого Виктора Маклаглена[6 - Виктор Маклаглен (1886–1959) – английский боксер и американский актер, обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Осведомитель» (1936). Известен ролями в вестернах Джона Форда.] – вальяжного, громогласного и сурового, но обаятельного – голливудский типаж. Рис был еще как суров, но никогда не орал на нас, и мы его не любили.

В первый же день он до неузнаваемости исковеркал наши фамилии. Мы все были из Нью-Йорка, и фамилии у большинства были непростые, но в битве с ними Рис потерпел постыдное поражение. Его тонкие черты мучительно кривились, когда он зачитывал список, а усики нервно дергались с каждым слогом.

– Дэ... Дэ-э-э... Алис... – бормотал он.

– Здесь, – отозвался Даллессандро, и почти с каждой фамилией повторялась та же история.

В какой-то момент, после неравной схватки с фамилиями Шахта, Скольо и Сищовица, сержанту попался Смит.

– Ого, Смит! – проговорил он, поднимая глаза от списка; на лице его медленно расцветала неприятная улыбочка. – Как тебя угораздило затесаться к этим гориллам?

Смешно не было никому. Наконец он закончил переключку и зажал планшет под мышкой.

– Меня зовут сержант Рис, я замкомандира вашего взвода. Это значит: я вам приказываю – вы подчиняетесь. – Он окинул нас долгим оценивающим взглядом. – Взво-о-од! – гаркнул он так, что диафрагма подпрыгнула от напряжения. – Смирр-на! – и принялся нас тиранить.

К концу первого же дня он утвердился в нашем общем сознании как «тупица и чертов южанин» – по выражению Даллессандро; таковым он оставался для нас еще долго. Справедливости ради стоит сказать, что мы, вероятно, тоже производили не лучшее впечатление. Нам всем было по восемнадцать – целый взвод бестолковых городских пацанов, совершенно не желающих напрягаться, проходя курс молодого бойца. Наверное, апатия – черта довольно необычная для мальчишек в таком возрасте и уж точно крайне неприятная, – но на дворе стоял 1944-й, война ни для кого не была новостью, и некоторый цинизм считался хорошим тоном. Если ты с готовностью кидаешься во все тяготы армейской жизни, значит ты желторотый юнец и не понимаешь всей серьезности дела. Прослыть таковым никто не рвался. В глубине души многим хотелось битвы или по крайней мере славы и наград, но внешне все мы держались как бесстыжие маленькие циники. Пытаться сделать из нас солдат – та еще была работенка, и основная тяжесть ее легла именно на Риса.

Конечно, об этой стороне дела мы первое время даже не задумывались. Мы знали одно: он дерет нас во все щели, – и мы его ненавидели. Лейтенанта, пухленького юнца студенческого вида, мы видели очень редко: заглядывая к нам время от времени, он все толковал, что, если мы будем идти ему навстречу, он тоже пойдет навстречу нам, потому что это командная игра, как бейсбол. Ротного командира мы видели еще реже (даже не помню, как он выглядел, помню только очки). Зато Рис был всегда рядом – спокойный, высокомерный: ни слова не проронит, разве только отдавая приказы, не улыбнется, разве только мучая нас. Глядя на положение в других взводах, мы замечали, что наш сержант

строг не в меру: например, он разработал собственные правила раздачи воды.

Дело было летом. Лагерь беззащитно распластался под знойными лучами тexasского солнца. Дожить до заката и не потерять сознание нам помогали только соляные таблетки; полевая форма у всех покрывалась белыми разводами от соленого пота, и нам всегда хотелось пить, но запасы питьевой воды пополнялись из источника, который находился на расстоянии нескольких миль, поэтому воду было приказано экономить. Сержанты в большинстве своем сами страдали от жажды и не слишком следили за выполнением этого приказа, но Рис все принимал близко к сердцу.

– Вы можете ничего не усвоить из солдатчины, – говаривал он, – но экономить воду я вас научу.

Вода хранилась в мешках Листера[7 - Мешок Листера (также фляжка Листера, листерный мешок) – брезентовый сосуд для хранения химически очищенной воды в походных условиях, назван в честь американского военного врача Уильяма Листера (1869–1947).], похожих на холщовое вымя. Их вешали вдоль дорог, на определенном расстоянии друг от друга, и, хотя вода в них была теплой и едкой от химикатов, едва ли не лучшее время утром и днем составляли короткие перерывы, во время которых нам разрешали наполнить фляги. В большинстве взводов на мешок Листера просто набрасывались всей толпой, тянули за маленькие стальные соски, весело толкались и плескались, пока он не повисал сморщенной тряпкой, а в пыли под ним не расплывалось темное пятно никому не нужной влаги. Не так было заведено у нас. Рис считал, что полфляги взрослому мужчине вполне достаточно, и стоял возле мешка, угрюмо наблюдая за нами, подпуская по очереди, по два человека. Если кто-то держал флягу под струей слишком долго, Рис прерывал раздачу, заставлял нарушителя выйти из очереди и говорил: «Выливай. До конца».

– Черта с два! – огрызнулся как-то раз Даллессандро, а мы стояли в полном восторге и наблюдали, как они сверлят друг друга взглядами под слепящим солнцем, на самом пекле.

Даллессандро, высокий детина с огненным взором черных глаз, через неделю-другую стал у нас главным выразителем общего мнения по любому вопросу; думаю, кроме него, ни у кого не достало бы смелости на подобный демарш.

– Я кто, по-твоему, – крикнул он, – верблюд чертов, вроде тебя?

Мы захихикали.

Рис потребовал, чтобы мы умолкли, и, добившись тишины, вновь повернулся к Даллессандро, щурясь и облизывая пересохшие губы.

– Ну ладно, – медленно проговорил он, – пей. Только до дна. Остальным – к мешку не подходить и к флягам не притрагиваться. Я хочу, чтобы все это видели. Пей давай.

Даллессандро триумфально и как-то нервно ухмыльнулся, поглядывая на нас, а потом стал пить, останавливаясь лишь для того, чтобы перевести дыхание, пока вода струйками стекала по его груди.

– Пей давай! – гаркал Рис всякий раз, когда Даллессандро переводил дух.

Глядя на него, нам отчаянно хотелось пить, но мы уже начинали понимать, к чему идет дело. Когда фляга опустела, Рис велел бедолаге снова ее наполнить. Тот подчинился, все еще улыбаясь, но уже с некоторой тревогой.

– Теперь пей! – скомандовал Рис. – Живо. Живее.

А когда Даллессандро вновь оторвался от опустевшей фляги, хватая ртом воздух, Рис приказал:

– Бери каску и винтовку. Видишь казарму? – (В отдалении, в паре сотен ярдов от нас, сквозь плывущий от зноя воздух мерцало белое здание.) – А теперь – бегом марш к ней, вокруг нее – и обратно, да поживее. И пока ты бежишь, твои товарищи будут стоять здесь и ждать, и никто из них не получит ни капли воды, пока ты не вернешься. Давай-давай, живо, бегом марш! Бегом марш!

Из чувства солидарности с Даллессандро никто из нас не смеялся, но вид у него был совершенно нелепый, когда он, тяжело перебирая ногами, семенил через учебный полигон и каска его качалась и подпрыгивала. Мы видели, как, не добежав до казармы, он остановился, согнулся пополам и выблевал выпитую воду. Потом, спотыкаясь, двинулся дальше – крошечная фигурка в пыльной

дали, исчез за углом здания, наконец вновь появился с другой его стороны – и пустился в долгий обратный путь. Добежав до нас, он в полном изнеможении рухнул на землю.

– Ну как, – тихо поинтересовался Рис, – напился?

Только после этого нам было позволено подойти к мешку Листера – по очереди, по двое. Когда мы закончили, Рис проворно опустился на корточки и нацедил себе те же полфляги, не проронив мимо ни капли.

И таким образом он вел себя постоянно, каждый день, и если бы кто-нибудь возразил, что парень просто делает свою работу, ответом ему было бы долгое негодующее фырканье.

Впрочем, довольно скоро случился эпизод, когда наша враждебность к Рису поутихла, – как-то утром один из инструкторов, первый лейтенант, огромный здоровяк, пытался обучить нас технике штыкового боя. Мы все были, в общем-то, уверены, что в наше время и на такой большой войне, на какую нас должны были отправить, нам, скорее всего, не придется орудовать штыком (а если и придется, то вряд ли исход боя будет зависеть от того, насколько виртуозно мы научились парировать и наносить удары), поэтому тем утром мы проявляли еще меньше энтузиазма, чем обычно. Мы снисходительно выслушали инструктора, потом встали и вяло повторили те движения, о которых он рассказал.

В остальных взводах ситуация была не лучше, и инструктор, ужасаясь тому, что всю роту, похоже, набрали из полных бездарей, нетерпеливо потирал подбородок.

– Нет, – проговорил он наконец. – Нет-нет, бойцы, вы все делаете не так. Посмотрите-ка на работу мастера. Сержант Рис, ко мне!

Рис сидел вместе с другими ротными сержантами: они, как всегда, собрались в кружок и скучали, инструктора не слушая. Тем не менее Рис тут же встал и вышел вперед.

– Сержант, покажите этим салагам, что такое штык, – приказал инструктор.

И в тот самый момент, как Рис взял винтовку с примкнутым штыком и взвесил ее в руке, все мы поняли, кто с радостью, а кто с досадой, что сейчас увидим нечто замечательное. Так бывает в бейсболе, когда смотришь, как сильный игрок выбирает биту. По команде инструктора он четко отработал все движения, каждый раз застывая, словно маленькая статуя, пока офицер сновал вокруг, заново все растолковывая, указывая на распределение массы и расположение конечностей под определенным углом. Кульминацией представления стал номер, когда инструктор отправил Риса в одиночку пройти через всю тренировочную площадку, от начала до конца. Сержант двигался быстро, ни на мгновение не потеряв равновесие, не сделав ни одного лишнего движения, снося бруски дерева с деревянных же плеч одним ударом приклада, вгоня лезвие штыка глубоко в связку хвороста, представляющую тело врага, и вновь вырывая из нее, чтобы всадить в другую. Это было эффектно. Нельзя сказать, чтобы он зажег наши сердца восхищением, но всегда приятно наблюдать, как человек хорошо делает свое дело. Другие взводы явно очень впечатлились, и, хотя никто из нас не проронил ни слова, думаю, мы немного гордились своим сержантом.

Однако дальше по расписанию в тот же день следовала строевая подготовка, во время которой командовали сержанты, и Рис умудрился за полчаса воскресить нашу неприязнь.

– Какого черта он о себе возомнил, – ворчал Шахт, маршируя в строю. – Думает, он теперь пуп земли, раз умеет вертеть этим дурацким штыком?

Всем нам было немного стыдно оттого, что мы так легко купились и растаяли, любуясь мастерством Риса.

В конце концов мы все же изменили к нему отношение, но, кажется, причиной тому послужили вовсе не его действия или поступки, а скорее события, которые заставили нас вообще по-другому увидеть армию, да и себя самих. Дело было на стрельбище. Стрельба, надо сказать, была единственным упражнением, которое доставляло нам искреннее удовольствие. После многочасовой муштры и изматывающих тренировок, занудных лекций под палящим солнцем и просмотра учебных фильмов в душных сараях, обшитых вагонкой, занятия стрельбой казались весьма радужной перспективой, и, когда пришло время, мы ими искренне наслаждались. Было особое удовольствие в том, чтобы распластаться у огневого рубежа, прижав ложе винтовки к щеке, держа под рукой промасленные, тускло поблескивающие запасные обоймы, щурясь, глядеть через

широкое пространство ровной земли вдаль, на мишень, и ждать сигнала, когда ровный голос из громкоговорителя скажет: «Готовность справа. Готовность слева. Готовность на огневом рубеже... Флажок поднят. Флажок в воздухе. Флажок опущен. Целься – пли!» В ушах взрывается залп множества винтовок, ты, затаив дыхание, жмешь на спусковой крючок – и отдача резко толкает тебя в плечо. Потом расслабляешься и смотришь, как мишень вдалеке скользит вниз, подчиняясь воле невидимых рук, притаившихся в траншее. Когда мгновение спустя она вновь появлялась, одновременно с нею над бруствером вскидывался цветной диск с оценкой и, помаячив, исчезал. Человек, припавший у тебя за спиной на колени и записывающий результаты, бормотал «неплохо» или «неважно», и ты снова устраивался поудобнее на песке, и снова целился. Это занятие, как никакое другое за все время армейской службы, пробуждало в нас дух соревновательности, и когда он выражался в желании показать, что наш взвод лучше других, в нас рождалось истинное чувство воинского товарищества – в таком чистом виде мы его больше нигде и никогда не испытывали.

На стрельбище мы провели около недели: выходили рано поутру и оставались там весь день, в полдень ели на полевой кухне, и даже это вносило в нашу жизнь приятное разнообразие – после армейской столовой. А еще нас радовало – поначалу даже больше всего прочего, – что на стрельбище мы были свободны от сержанта Риса. Под его началом мы маршировали туда и обратно и под его наблюдением чистили винтовки в казарме, но на бо?льшую часть дня он передавал нас под командование местного персонала – ребят беспристрастных и благожелательных, которых банальная дисциплина интересовала куда меньше, чем меткость.

И все же у Риса было достаточно возможностей, чтобы издеваться над нами в остальное время, когда главным был он. К своему удивлению, после первых дней на стрельбище мы обнаружили, что он как-то смягчился. Например, когда, чеканя шаг, мы считали ритм, он больше не заставлял нас делать это снова и снова, с каждым разом все громче, пока наши глотки не начинали гореть от крика: «Левой! Левой! Раз-два-три!» После одного-двух повторов он оставлял нас в покое, как делали все прочие взводные сержанты, и поначалу мы гадали, что бы это значило. «В чем же дело?» – спрашивали мы друг друга озадаченно, а теперь я думаю, дело было просто в том, что впервые за все время мы наконец стали хоть что-то делать правильно – достаточно громко и хором. Мы маршировали хорошо, и Рис по-своему давал нам это понять.

От казармы до стрельбища было несколько миль, и значительный отрезок пути пролегал через ту часть лагеря, где нужно было идти строевым шагом по команде «смирно»; идти походным шагом разрешалось лишь после того, как расположение нашей роты оставалось позади. Но теперь, научившись как следует маршировать, мы едва ли не наслаждались этим процессом, и даже с воодушевлением подхватывали песню, которую затягивал Рис. Заставив нас отсчитать ритм, он обычно запевал какую-нибудь старую солдатскую песню, в которой после каждой строчки должен был следовать наш ответный выкрик. Раньше мы этого терпеть не могли. Теперь же песня казалась на удивление бодрящей, и мы чувствовали, что она досталась нам в наследство от прежних солдат и прежних войн и что корни ее уходят глубоко в армейскую жизнь, смысл которой нам еще предстоит постичь. Начиналось обычно с того, что гундосые выкрики Риса: «Левой... левой... левой» – вдруг переходили в простую заунывную мелодию: «Хорошим был твой дом, а ты ушел...» – и тут мы должны были крикнуть: «ПРАВОЙ!» – ударив о землю правой ногой. Далее следовало несколько вариаций на ту же тему:

– Работа хороша, а ты ушел...

– ПРАВОЙ!

– Подруга хороша, а ты ушел...

– ПРАВОЙ!

Потом мелодия чуть менялась:

– Ты все оставил и ушел, а Джоди тут как тут...

– ПРАВОЙ! – орали мы по-солдатски дружно, и смысл этого странного текста был совершенно понятен.

Джоди – твой вероломный друг, из гражданских, которому по прихоти слепого случая досталось все, что тебе было дорого, а из последующих строчек, из вереницы полных горечи куплетов, становилось ясно, что этот подлец всегда смеется последним. Ты можешь сколько угодно маршировать и стрелять и сколько угодно верить в силу дисциплины – Джоди всегда непобедим: вот истина, с которой приходилось мириться многим поколениям гордых и одиноких

мужчин, подобных Рису, отличному солдату. Маршируя рядом с нами, под палящим солнцем, он зычно голосил, скривив рот:

- Ни к чему тебе спешить домой... Теперь там Джоди с молодой женой... Считаем ритм!

-левой! левой!

- Считаем ритм!

- Правой! Правой!

- Каждая твоя беда для Джоди праздник навсегда! Считаем...

-левой! левой!

- Считаем!

- Правой! Правой!

Мы едва ли не расстраивались, когда на задворках лагеря он разрешал нам перейти на походный шаг и каждый из нас снова становился самим собой – отдельно взятой личностью. Мы сдвигали каски на затылок и плелись дальше не в ногу, и единство дружного солдатского хора разрушалось. Со стрельбища возвращались грязные и усталые, оглохшие от пальбы, но переход на строевой шаг в конце пути, как ни странно, бодрил: мы маршировали, высоко подняв головы, выпрямив спины, взрывая прохладный воздух слаженными выкриками.

По вечерам после ужина много времени уходило на чистку винтовок: в этом деле Рис требовал особого тщания. Пока мы этим занимались, по казарме разливались приятные запахи чистящего раствора и масла, а когда, к удовольствию Риса, дело было сделано, мы все стягивались к входной двери, стояли на лестнице и курили, дожидаясь своей очереди в душевую. Однажды вечером мы собрались там маленькой компанией и долго стояли почти молча, чувствуя, что обычные наши жалобы и пустые разговоры о несправедливости начальства стали вдруг как-то неуместны, что они не соответствуют странному удовольствию от армейской жизни, которое мы начали испытывать в последние

дни. Наконец Фогарти выразил то, что чувствовали мы все. Это был низенький, очень серьезный паренек, самый хилый из всего взвода, любимая цель для насмешек. Думаю, терять ему было нечего, вот он и ляпнул честно, что думал.

– Ну, не знаю... – сказал он, со вздохом облокотившись о дверную стойку. – Не знаю как вам, ребята, а мне это нравится – ходить на стрельбище, маршировать и вообще вот это все. В этом чувствуется настоящая солдатчина – понимаете, о чем я?

Опасная наивность – вот так говорить, используя любимое словечко Риса – «солдатчина». Несколько мгновений мы смотрели на Фогарти нерешительно. Но потом Даллессандро окинул всю компанию спокойным взглядом, в котором не было ни тени насмешки, – и мы расслабились. Понятие солдатчины начинало вызывать уважение, а поскольку в нашем сознании оно было неотделимо от сержанта Риса, к нему мы тоже начинали испытывать уважение.

Вскоре эта перемена охватила всю роту. Мы больше не противостояли Рису, мы сотрудничали с ним и действительно старались, а не делали вид, будто стараемся. Нам искренне хотелось стать настоящими солдатами. Должно быть, порой наша старательность доходила до нелепости, и человек попроще мог бы подумать, будто мы в шутку притворяемся: помню, как на любой приказ Риса мы отвечали дружным: «Есть, сержант!» – полным невиданного энтузиазма. Но сам Рис принимал все за чистую монету, с незыблемой самоуверенностью – первой непременной чертой хорошего командира. Он был не только строг, но и справедлив – вторая непременная черта хорошего командира. Например, при назначении будущих командиров отделения он спокойно обходил тех, кто выслуживался перед ним как мог, разве только ботинки ему не лизал, и выбирал тех, кого мы уважали: это были Даллессандро и еще один парень, не менее достойный. В остальном же его метод командования был классически прост: он вдохновлял нас собственным примером – во всем, от чистки винтовки до складывания носков, – и мы подражали ему, стараясь ни в чем не уступить.

Безупречностью легко восхищаться, но любить ее трудно, а Рис не желал облегчить нам задачу. Это была единственная его ошибка, но очень серьезная, ибо уважение без любви – чувство непрочное – во всяком случае, когда речь идет о юных незрелых умах. Рис дозировал душевное тепло не менее строго, чем питьевую воду: наслаждаясь каждой крошечной каплей несоизмеримо сильнее, чем оно того стоило, мы всегда жаждали еще и никогда не получали достаточно,

чтобы утолить жажду. Мы были счастливы, когда он вдруг перестал коверкать наши имена на перекличке, и пришли в полный восторг, заметив, что в его замечаниях больше нет стремления оскорбить, ведь мы понимали: это знаки того, что он признает наши успехи в солдатском деле, – однако почему-то мы чувствовали, что имеем право на большее.

Неменьший восторг вызвало у нас открытие, что наш пухленький лейтенант побаивается Риса: нам едва удавалось скрывать удовольствие, наблюдая, как при появлении лейтенанта сержантское лицо делается снисходительным, или слушая, с какими напряжением, едва ли не извиняясь, молодой офицер произносит: «Хорошо, сержант». В такие моменты мы ощущали особую близость с Рисом, будто принадлежали вместе с ним к какому-то особому солдатскому сообществу и были этим горды, и он даже раз-другой оказал нам особую честь, подмигнув нам у лейтенанта за спиной, – но только раз-другой, не больше. Но сколько бы мы ни копировали его походку и манеру щуриться, сколько бы ни ушивали форменные рубашки, чтобы те сидели плотно, как у Риса, сколько бы ни подражали его манере говорить, в том числе южному произношению, – несмотря на все это, славным парнем мы его никогда не считали. Это была личность совершенно иного типа. Ему не нужно было от нас ничего, кроме формального подчинения в служебное время, и как человека мы его почти не знали.

В редких случаях, когда он оставался дежурить, он сидел в одиночестве или в компании одного-двух других кадровых военных, столь же неразговорчивых, как он сам, – в компании, куда нам решительно не было доступа, – и пил пиво в гарнизонной лавке. Почти каждый вечер и каждые выходные он пропадал в ближайшем городке. Я уверен, никто из нас и не надеялся, что сержант станет проводить свободное время с нами, – по правде сказать, нам бы такое и в голову не пришло, – и тем не менее было бы лучше, если бы он хоть немного приоткрыл для нас ту завесу, за которой скрывалась его личная жизнь. Если бы он хоть раз в разговоре с нами упомянул свой дом, например, или пересказал беседу с приятелями, с которыми сживал в гарнизонной лавке, или посоветовал бы любимый бар в городке, думаю, все мы были бы благодарны до глубины души. Но он не делал ничего подобного. Положение усугублялось тем, что у нас, в отличие от него, в жизни не было ничего, кроме служебной рутины. Городок был похож на маленький пыльный дощато-неоновый лабиринт, кишаций солдатами, и, хотя большинство из нас не обрели там ничего, кроме одиночества, мы все равно фланировали с важным видом по узким улочкам. Гулять там было негде – слишком мало места, и если удавалось отыскать хоть какие-то развлечения, сведения об этом оставались уделом избранных, которым посчастливилось первыми набрести на живительный источник удовольствия; нам же, молодым,

застенчивым, не вполне уверенным в том, что именно мы ищем, делать там было решительно нечего. Можно было разве что зайти в армейский клуб и, если повезет, потанцевать с девушкой, давно разучившейся ценить наивных ухажеров; можно было поискать удовольствия, побродив между прилавков с безвкусными арбузами или заглянув в зал игровых автоматов; еще можно было бесцельно слоняться небольшими компаниями по темным улочкам на окраине, где редко попадалась хоть одна живая душа, кроме таких же солдат, столь же бесцельно слоняющихся такой же компанией.

– Ну как, чем займешься? – нетерпеливо любопытствовали мы друг у друга, но всякий раз получали один и тот же ответ: – Ну, не знаю. Прогуляюсь, наверное.

Обычно мы накачивались пивом допьяна, а то и до рвоты; в автобусе по пути в лагерь нам становилось плохо, и мы с благодарностью думали о грядущем дне, распорядок которого, как всегда, четко predetermined.

Учитывая все эти обстоятельства, неудивительно, что в эмоциональном отношении мы все варились в собственном соку. Мы, как заправские домохозяйки, упивались подавленностью и недовольством товарищей. Мы все разбились на маленькие злобные группки, а внутри них – на пары и то и дело ревниво обменивались закадычными друзьями, а праздность скрашивали сплетнями. Большинство сплетен касались гарнизонной жизни; известия о том, что происходило за пределами роты, мы получали в основном от ротного писаря – добродушного, малоподвижного человека, которому нравилось распространять слухи, переходя в столовой от одного столика к другому и точно рассчитывая скорость, с которой для этого нужно потягивать кофе из чашки. «Я тут узнал в штабе...» – этими словами он начинал рассказ про очередной, решительно неправдоподобный слухок о высоком начальстве (у полковника сифилис; начальник гауптвахты уклонился от отправки на передовую; программу обучения сократили, и все мы окажемся за кордоном уже через месяц). Но однажды днем, в субботу, он принес весть, касавшуюся нас непосредственно и, как нам показалось, достаточно правдоподобную. Источником ее была та самая ротная канцелярия, где он служил. Много недель подряд писарь твердил нам, будто наш пухленький лейтенант хлопочет, чтобы Рису куда-нибудь перевели. Похоже было, что его хлопоты увенчались успехом и будущая неделя вполне могла стать для Риса последней в должности нашего взводного.

– Дни его сочтены, – мрачно изрек писарь.

- То есть как это - переводят? - спросил Даллессандро. - Куда переводят?

- Говори тише, - посоветовал писарь, нервно оглянувшись на сержантский столик, где, невозмутимо склонившись над тарелкой, сидел Рис. - Не знаю я. Этого я не знаю. В любом случае дело плохо. Имейте в виду, ребята: вам достался лучший взводный сержант в гарнизоне. Я бы даже сказал, он слишком хорош, и в этом его беда. Настолько хорош, что вашему недоделанному лейтенантику с ним не сладить. В армии такое прилежание не окупается.

- Это точно, - с мрачным видом подтвердил Даллессандро. - Оно никогда не окупается.

- Да что ты? - с ироничной усмешкой переспросил Шахт. - Ты это серьезно, а, командир отделения? Расскажи-ка поподробней.

И разговор за нашим столиком скатился на уровень упражнений в остроумии. Писарь тихонько ретировался.

Рис, видимо, услышал эту новость примерно тогда же, когда и мы. Во всяком случае, после тех выходных его поведение изменилось. Он отправился в городок, и вид у него был такой напряженный, какой бывает у человека, решившего непременно выпить. С утра в понедельник он едва не пропустил побудку. По понедельникам он почти всегда страдал похмельем, но прежде это никогда не отражалось на выполнении служебных обязанностей: он всегда поднимал нас грозным голосом и выгонял на утреннюю перекличку. Однако на сей раз все время, пока мы одевались, в казарме стояла невиданная тишина.

- Эй, да его нет! - крикнул кто-то с лестницы, где находилась дверь комнаты сержанта. - Риса здесь нет!

Командиры отделений на удивление быстро овладели ситуацией. Уговорами и тычками они выдворили нас впотьмах на улицу, на построение, и получилось почти так же быстро, как под надзором Риса. Увы, старший по казарме, дежуривший этой ночью, делая обход, успел обнаружить отсутствие Риса - и побежал будить лейтенанта.

Офицеры редко бывали на утреннем построении, тем более по понедельникам, но на сей раз все было иначе: мы стояли одни посреди двора, и вдруг из-за угла

казармы трусцой выбежал лейтенант. В тусклом свете, падавшем из окон, было видно, что верхние пуговицы на его кителе не застегнуты, а волосы растрепаны; вообще вид у него был помятый со сна и совершенно растерянный. Подбегая, он крикнул нам:

– Ну что, бойцы... э-э...

Командиры отделений дружно набрали в легкие воздуха, но не успели они хрипло крикнуть «Взвод! Сми-иррно!» – как появился Рис, от бега слегка запыхавшийся, в той же помятой полевой форме, что и вчера, но в совершенно вменяемом состоянии. Он провел переключку по отделениям, вскинул одну прямую ногу красивым, профессиональным движением, кадровые военные так делают при повороте кругом, безупречно выполнил сам поворот – и, встав лицом к лейтенанту, отсалютовал ему.

– Все в сборе, сэр! – отчеканил он.

Лейтенант настолько растерялся, что смог лишь небрежно отсалютовать ему в ответ и пробормотать:

– Хорошо, сержант.

Ему, наверное, было не с руки даже сказать: «Чтобы такое больше не повторялось», – потому что, в общем-то, ничего особенного не случилось, просто его вытащили из постели на утреннее построение. Наверное, весь оставшийся день он размышлял, стоило ли отчитать Риса за то, что он был одет не по форме. Когда лейтенант отвернулся и направился обратно, к себе на квартиру, вид у него был такой, будто он уже задумался на эту тему. После команды «Разойдись!» весь наш взвод тут же выдал громовой раскат хохота; лейтенант сделал вид, что не слышит.

Но сержант Рис не преминул испортить нам веселье. Он даже не поблагодарил командиров отделений за то, что прикрыли его в трудную минуту, и весь остаток дня придирался к нам по разным мелочам; мы думали, что уже переросли такое отношение. На плацу он отловил коротышку Фогарти и спросил:

– Ты когда брился последний раз?

На лице Фогарти, как и у всех нас, произрастал лишь бледный пушок, который вообще можно было не брить.

- Примерно неделю назад.

- Примерно неделю назад, сержант! - поправил Рис.

- Примерно неделю назад, сержант, - покорно повторил Фогарти.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Эдвард Робинсон (Эмануэль Голденберг, 1893–1973) – американский актер, известен ролями в криминальных драмах.

2

New York Yankees и San Francisco Giants – бейсбольные команды.

3

«Easter Parade» (1933) – популярная песня Ирвинга Берлина. Так же («The Easter Parade») Йейтс назвал один из своих поздних романов (1976).

4

Стикбол – уличная игра, похожая на бейсбол. Популярна в крупных городах на северо-востоке США, особенно в Нью-Йорке и Филадельфии.

5

«For He’s a Jolly Good Fellow» – поздравительная песня, одна из самых популярных песен на английском языке. Исполняется по случаю свадьбы, рождения ребенка, повышения по службе и проч.

6

Виктор Маклаглен (1886–1959) – английский боксер и американский актер, обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Осведомитель» (1936). Известен ролями в вестернах Джона Форда.

7

Мешок Листера (также фляжка Листера, листерный мешок) – брезентовый сосуд для хранения химически очищенной воды в походных условиях, назван в честь американского военного врача Уильяма Листера (1869–1947).

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/richard-yeyts/odinnadcat-vidov-odinochestva-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)